

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Лосев Алексей Из разговоров на Беломорстрое

I Этот разговор проходил 1-го мая 1933 г. на Беломорстрое. Уже высилась красавица Маткожненская плотина, издали привлекая взор своим кокетливым, матово-зеленым ажуром. Уже приходил к концу восьмикилометровый 165-й канал, на котором круглые сутки стоял гул от подрывных работ, похожий на войну 1914-1915 г. на западном фронте, и из которого из одного было извлечено больше миллиона кубометров самых разнообразных пород. Велось последнее наступление для открытия Беломорско-Балтийского Канала летом этого года и для сдачи его тут же в эксплуатацию.

Мы отменили свои выходные дни с тем, чтобы компенсировать их впоследствии. И 1-е мая было нашим первым праздничным днем после двух месяцев работы.

Еще дня за два до этого я говорил в Проектном Отделе одному нервному, черноглазому и, кажется, умному молодому скептику, заведовавшему у нас чертежным отделением:

- Ну, Михайлов, как же поживает ваш анархизм?

Михайлов сухо ответил:

- Да так же, вероятно, как ваше вредительство.

- Но я опаснее вредительства... Почему вы заговорили о вредительстве? - сказал я без всякого смущения.

- А вы почему заговорили об анархизме?

- Я заговорил об анархизме потому, что вы сами неоднократно высказывались в этом направлении

- Вот что, любезный Николай Владимирович, - сказал Михайлов, вдруг переменяя враждебный тон на дружеский. - Надо нам договориться. Хотите, послезавтра, 1-го мая, я изложу вам свой взгляд в систематической форме?

- Сергей Петрович, - восторженно крикнул я, ударивши его по плечу. Сергей Петрович, это будет чудесно! Это будет замечательно! Вы же сами всегда так уклонялись...

Было решено: 1-го мая, часов около 6 вечера, мы собираемся у меня в Арнольдовском поселке и слушаем Михайлова.

- Но только вот что... - заговорил Михайлов, несколько понизивши тон. - Не будет ли это слишком теоретично?

Я, зная интересы Михайлова, посмотрел на него с удивлением. Он продолжал:

- Не лучше ли связать общие рассуждения с каким-нибудь конкретным вопросом?...

В таком случае, - быстро заговорил я, - какой же для нас еще более конкретный вопрос, чем наше строительство?

- Канал? - испуганно спросил Михайлов.

- Ну, да! Канал!

- Беломорстрой?

- Ну, конечно, Беломорстрой!

Михайлов помолчал и потом с некоторым ехидством сказал, еще более тихим голосом и с улыбкой:

- А не будет ли это более конкретно, чем надо?...

Я отвечал намеренно громким голосом:

- Да вы чего испугались? Что же, мы, строители и ударники Канала, не можем рассуждать о нашем собственном сооружении?!

- Вот что, Николай Владимирович, - ответил Михайлов. - Тогда уже давайте говорить просто о технике. Это будет и достаточно конкретно, и не нужно будет забираться нам в гущу злободневной беломорстроевской работы...

- Ну, что же, я и на это согласен, - отвечал я. - Но тогда надо выслушать еще кое-кого...

- Знаю, знаю! - подхватил Михайлов. - Вы хотите Коршунова...

- И Коршунова, и Елисеева, и Абрамова...

- Но ведь это же будет митинг!

- Не митинг, а производственное совещание.

Михайлов вдруг неожиданно рассмеялся молодым и чистым смехом, обнаруживши свои прекрасные зубы и как бы с головой выдавая свое юношеское, добродушное и еще незрелое, не испорченное мироощущение.

- Неужели вы хотите прямо в Проектном Отделе? - спросил он сквозь смех.

- А почему бы и не в Проектном Отделе? Читают же тут и об искусстве, и о философии...

- Но ведь то кружки.

- Ладно! - решительно сказал я. - Соберемся у меня? Пять-шесть человек - небось, ничего не случится.

Михайлову настолько хотелось говорить и слушать, что он тут же и согласился,

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

хотя и вопреки правилам своего обычного поведения. 2. 1-го мая, около 6 часов вечера, с десяток человек сидело у меня на терраске, так как была очень теплая погода, хотя, впрочем, потом пришлось перейти в дом.

За самоваром и первомайскими пайками и угощениями разговор шел довольно бойко, и мы не сразу приступили к намеченной теме.

Гостями были наши инженеры и техники, кое-кто из экономистов и две женщины. Компания была большею частью холостая или настолько оторванная от семьи, что никто даже и не вспоминал об этом. На Беломорстрое некогда было думать ни о семейных, ни о личных делах. Одна из женщин была инженер-гидротехник, дама лет 45, другая – молоденькая девица, чертежница.

После того как уже с полчаса болтали о текущих делах, я, боясь дальнейшего углубления в эти бесконечные и насыщенные темы, прервал общий разговор решительным предложением:

– Товарищи! Завтра нам вставать рано на работу. В нашем распоряжении всего каких-нибудь три часа. Не будем терять времени. Елена Михайловна и Клавдия Егоровна последят, чтобы у всех был чай. А мы – давайте приступим. Дальше невозможно. Начинаем. Сергей Петрович, начинайте!

Все смолкли, но Михайлов стал отнекиваться и просить разрешить ему после других. Я не стал его упрашивать, чтобы не тратить времени, и назвал Коршунова, который сразу согласился и начал свою речь так.

– Я согласен! И согласен я потому, что мое слово будет очень краткое. Для начала оно и хорошо будет. Другие потом разговаривают подробнее. Я, товарищи, думаю так. Я – матерый производственник. Я даже плохой проектировщик. Вся моя жизнь на трассе, среди металла, бетона и горных пород. Что такой человек может сказать о технике? Большинство, конечно, думает, что вот такой-то инженер и скажет о технике нечто особенно глубокое и веское. А я скажу вот что. Самое главное, товарищи, это – не философствовать. Самое глубокое, что я вам скажу, это вот что: техника есть техника. Оно как будто и глуповато звучит, – при этих словах Коршунова многие усмехнулись, – а тут-то самая глубина и есть. Чего только не навязывают технике! Она тебе и культура, она тебе и удобство жизни, она тебе и прогресс. Иные захлебываются от восторга перед техническими сооружениями. Другие ненавидят машину и вздыхают о добром старом времени, когда скрипели на телегах и заправляли лучинку. Но, товарищи! Существует одна такая истина, которую никто не хочет видеть в этом вопросе. И эта истина, если хотите, жестокая, неумолимая. Вы можете, если хотите, лопнуть от этой истины, но она не обращает на вас никакого внимания. Истина эта самый факт существования и развития техники. Техника есть, – вот о что вы можете разбивать себе голову, сколько вам угодно, но она есть и есть, и больше ничего! Сколько угодно, вы можете ее любить или ненавидеть. Но ни от вашей любви она не прибавит, ни от вашей ненависти она не убавит. Вы вот думаете, что-де захотелось человеку телеграмму послать, – взял он да и выдумал телеграф. Или – захотелось ему летать по воздуху, взял да и построил аэроплан. Я же вам скажу, что это самое "хотение" ровно никакой роли не играет. Вы думаете, в старину люди не хотели переписываться на расстоянии или не хотели летать по воздуху? Вы думаете, до аппарата Морзе не было потребности в телеграфе? Вы думаете, у греков не было идеи летания по воздуху и они не имели своего Икара? Да, товарищи, все это было и было, но вот паровозы пошли только с 30-х годов, а автомобили только в XX в. И отчего это зависит? От чего бы это ни зависело, но это меньше всего зависит от желания или потребности человека. Это есть, и – больше ничего!

Я стал бы также протестовать, что от техники становится людям лучше и свободнее и что люди именно эти цели преследуют, когда форсируют свою техническую культуру. Помещик жил в своем имении без трамваев и электричества, и жил не худо, барин жил. И если он завел автомобиль, то вовсе не потому, что автомобиль несет с собою удобство. Вы скажете: старая жизнь была очень медленная. Но я не знаю, почему же она обязательно должна быть скоропалительной. Если говорить об удобстве и спокойствии, то, наоборот, форсированная техника есть сплошное неудобство и беспокойство, Мы вот с вами умываемся на Медвежке так, что наливаем воды в умывальник и подталкиваем шпинец кверху: вода течет, и все тут. Американец же сначала нажимает одну кнопку: вылезает откуда ни возьмись, подносик с мылом. Нажимает вторую кнопку: льется вода, сила течения которой опять регулируется особым краном. Нажимает третью кнопку: прячется и мыло и вода. Нажимает четвертую кнопку: вылезает валик с полотенцем. Нажимает пятую кнопку: валик с полотенцем прячется. Нажимает шестую кнопку: вылезает трубочка, из которой идет нагретый воздух, чтобы осушить на пальцах ту влагу, которая, возможно, на них еще осталась после полотенца. Нажимает седьмую кнопку, вылезает целый ассортимент щеток; одна щетка для головы, другие для усов, третьи для бороды, четвертые для чистки ногтей, пятые для платья. Нажимает восьмую кнопку: вылезает зеркало. Если хотите, все замечательно удобно. Весь умывальник

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
представляет собою только небольшую мраморную доску на стене с этими восемью кнопками. Она не занимает ровно никакого места; и все умывальные принадлежности во мгновение ока появляются и исчезают. Но разве можно сказать, что жить с таким умывальником легче и свободнее? Я этого не думаю. Вы знаете, что я теперь не хочу технической отсталости и беспомощности, и я отнюдь не против техники. Но я утверждаю: она существует и развивается помимо человеческих стремлений и часто вопреки им. Она – суровая необходимость. Вот и вся моя речь.

После речи Коршунова все сразу заговорили:

– Возражаю! Возражаю! Техника – только для человека. Техника для человека, а не человек для техники!

– Техника вовсе не есть необходимость. Сами же вы говорите, что целые тысячелетия не было никакой техники.

– А что же человек-то? Значит, пешка? Человек значит пешка? Так, по-вашему?

– Ведь это какая-то судьба, фатум, рок. Мойра какая-то. Так никогда не бывает! Так не бывает!

– Да возьмите наш Беломорстрой. Ведь это же идея Сталина. Не будь продуманной идеи у Сталина, не было бы и Беломорстроя. Какая же это судьба?

– Нет, нет, дело вовсе не в Сталине. Сталин выдвинут эпохой. Беломорстрой – закономерный результат нашей эпохи.

– Нельзя проповедовать фатализм, сидя на трассе и регулируя водоспуски. Что это будут за водоспуски, если все время уповать на фатум?...

– Хе-хе! Эдак наши шлюзы понесет в Белое море, а мы будем только моргать глазами.

– Не фатализм, не фатализм. Это – нигилизм. Вот что! Это – нигилизм!

Коршунов улучил мгновение, когда стало тише, и громко сказал

– Товарищи! Слово! Одно слово!

Стало тише, и он продолжал:

– Я вовсе ни на что не уповаю. И я вовсе никакого идеала не рисую вам ни в прошлом, ни в будущем.

– Но вот это-то и плохо, – сказала вдруг инженерша Елена Михайловна. Это-то и плохо. Вы отнимаете у человека его естественные стремления и обесмысливаете то, что, может быть, для него самое дорогое и самое ценное.

– Дело же в этом, – заговорил Абрамов, славившийся у нас как прекрасный расчетчик шлюзов и как наиболее ортодоксальный марксист. – Дело в том, что для этой необходимости вы не дали никакого объяснения. Я согласен, что техника, это – необходимость. Но откуда же взялась такая необходимость? Это надо объяснить. Потому и получается такой фатализм. Надо объяснить.

– Экономически? – спросил Коршунов, как будто бы желая уколоть Абрамова.

– Не экономически, но социологически, – невозмутимо продолжал тот.

– А естественно-научно вы не хотите объяснять?

– Это механизм.

– А позвольте вас спросить, – начал наступать Коршунов. – Что для вас первоначальнее, природа или история?

– Природа.

– Значит, история определяется природой?

– Нет, я же вам сказал, что это – механизм.

– Но тогда, значит, не природа определяет историю, а, наоборот, история природу?

– История определяет взгляды на природу.

– Вы отклоняетесь. Я вас спрашиваю не о взглядах на природу, но о самой природе. Что, природа – существует сама по себе и ни от чего не зависит и, наоборот, все собою определяет, включая и историю, или же – над ней еще что-то есть, что определяет ее саму. И не есть ли это история?

– Но тогда получится, – защищался Абрамов, – что законы природы объективно меняются в зависимости от того, какой класс стоит у власти?

– Совершенно правильно, – с деланным восторгом крикнул Коршунов. Совершенно правильно! Вот это и было бы настоящим марксизмом.

– Но ведь это же нелепость. Вы хотите, чтобы марксизм был нелепостью?

Тут раздался голоса протеста

– Перестаньте, не надо! Ближе к делу! При чем тут марксизм? Товарищи, вы забыли о технике! Нельзя ли обойтись без политики и экономики? О технике! Говорите о технике!

Коршунову удалось опять заговорить громче других, и он привлек внимание большинства, хотя кое-кто все еще продолжал спорить между собою:

– Товарищи! Когда я начинаю объяснять историю природой, меня упрекают в механизме. Когда я начинаю объяснять природу историей, меня упрекают в нелепости.

– Довольно, довольно! – раздался опять голоса. – Говорите о технике! Вы будете

говорить о технике?

- Вот я и утверждаю о технике, - громко, но доброжелательно продолжал Коршунов, - что она есть необходимость; и если меня спрашивают, какая это необходимость, то я и отвечаю: природная необходимость, физическая необходимость. Тут дело не в истории, не в человеке, не в потребностях, не в улучшении жизни, а дело в физических законах. Для меня тут нет никакой философской проблемы, - так же, как и у астронома при вычислении орбиты луны. Это так есть, - вот и вся философия.

- Левобуржуазный материализм, - вставил Абрамов, - осужденный всеми, и Марксом, и Энгельсом, и Лениным!

- Я не понимаю, - сказал Коршунов, - чего вы от меня хотите.

- Я хочу, - может быть, и не столько от вас, сколько от себя, - чисто социологического объяснения

- Но тогда и объясняйте сами, а факт-то должны признать.

- А факта необходимости я и не отрицал.

Елена Михайловна опять не удержалась.

- А я отрицаю самый факт. Никто меня не убедит, что человек не свободен. Ведь, это же идти против самой элементарной очевидности. Ну, посудите сами: как это возможно, чтобы человек не раздумывал, не выбирал, не решался на то или на это, не был ответственен за свой выбор и т. д.? Ведь это же, товарищи, нелепость. При слове "нелепость" все рассмеялись, кроме Абрамова, который продолжал в серьезном тоне:

- Разумеется. И свобода, и выбор, и ответственность вполне остаются за человеком. Но это и есть для него необходимость. Его рок и судьба - быть свободным. Он осужден на эту суровую и неумолимую и, если хотите, фатальную необходимость - быть свободным.

- Прыжок из царства... - начал было кто-то пищать тоненьким голоском из угла, но его тут же перебили:

- Довольно! Ясно и так! Давайте дальше. Сергей Петрович, может быть сейчас хотите?

Все обратили взоры на Михайлова, который до сих пор не проронил ни одного слова в споре и даже сидел в отдалении. Я тоже прибавил!

- Сергей Петрович, хотите? Садитесь ближе к столу.

К моему удивлению, Михайлов вдруг согласился говорить и сел на видное место. Он говорил так.

- Я начну с некоторых биографических фактов. Это - вы увидите - будет как раз на тему. Вам известно, что я приехал сюда не по своей воле. Вы не думайте, однако, что я придаю этому факту какое-нибудь особенное значение. Наоборот, этот-то факт как раз и не имеет никакого значения. И если я о нем заговорил, то только в виду его символичности.

Я - сын состоятельных родителей; мой отец был крупным чиновником в министерстве юстиции. Я имею "буржуазное" происхождение, воспитание и привычки. Спрашивается: чем я виноват, что отец мой тайный советник и что я говорю на трех языках? Я родился в 1904 году. Спрашивается: чем я виноват, что я родился в 1904, а не в 1910 году, что я родился в XX, а не в XXV и не в XV веке? Спрашивал ли кто-нибудь моего согласия на то, чтобы родиться 1 сентября 1904 года и чтобы родиться вообще? Я, может быть, совсем не хочу жить. Но почему-то вдруг, хочешь, не хочешь, - будьте любезны, извольте жить! Жить значит бороться, отстаивать свои интересы. Жить, это значит иметь вечный голод и жажду и вечно их как-то удовлетворять. Жить иной раз можно только так, что или сам убегаешь от смертельной опасности или вынуждаешься преследовать другого, наносить вред другому, - может быть, мучить его или убивать. Но при чем тут я? Я испытываю голод и должен его удовлетворять. Но почему же вдруг я должен его удовлетворять? Ведь этот голод не сам же я себе придумал! Я не хочу никого преследовать; я не хочу, чтобы преследовали меня, я вовсе никак не хочу ни с кем бороться. Но волей-неволей я должен бороться за существование, чтобы не умереть с голоду, с холоду, от болезней и т. д. Спрашивается: почему я должен это делать, если не я сам выдумал это самое существование и если в глубине души я сам даже против него? Ведь это все равно, если вы дадите мне в чертежку плохой и неверно рассчитанный чертеж, по которому сооружение должно разрушиться в первые же дни после своего окончания, а я, который только послушно копировал этот чертеж, буду потом отвечать за ваше сооружение.

Четырнадцатилетним школьником я увидел первые уличные бои в революционном Петрограде. Боролись, как говорили, какие-то пролетарии с какими-то буржуями. Но позвольте! При чем же я тут? Я не хочу быть ни буржуем, ни пролетарием, - почему я должен принимать участие в этой борьбе? Так нет же! Должен! Но почему должен? Мне одинаково противно и то и другое. Представьте себе, что где-нибудь в диких областях Африки какое-нибудь племя готтентотов не на живот, а на смерть сражается с каким-нибудь племенем бушменов. Ну, и при чем тут я? Почему я вдруг

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
должен участвовать в этой драке? Мне скажут: но вы же сами сказали, что вы буржуазного происхождения. Однако, товарищи, это же смешно: ну, чем же я виноват, что я родился тогда-то и так-то от таких-то родителей? Ведь не я же сам себя родил! Да и родители-то мои едва ли виноваты в моем рождении, потому что не они же сами придумали себе тот непреодолимый животный инстинкт, который – может быть, опять-таки против их же собственной воли – толкал их к браку и продолжению рода. Но раз сомнительно, виноваты ли они в моем рождении, то уже абсолютно несомненно, что сам я совершенно в этом не виноват. И тогда почему я должен драться и защищаться?

После этих слов опять заговорила инженерша, перебивая Михайлова в начале новой фразы:

– Сергей Петрович, но какое же это имеет отношение к технике?
Михайлов отвечал.

– Это имеет самое близкое отношение к технике... Впрочем, если это неинтересно, я могу и кончить...

– Нет, все это очень интересно, – поспешила вставить Елена Михайловна – Но только я не улавливаю связи...

– Говорите! – раздался голоса. – Продолжайте! Давайте не мешать ораторам. Просим! Сергей Петрович, просим!

И Михайлов продолжал.

– Это первое. Я абсолютно неповинен ни в самом факте своего существования, ни в том или другом его смысловом содержании. И вот за этот насильно навязанный мне факт я же и должен отвечать. Это – первое. И это, товарищи, похуже ссылки на Беломорстрой. Теперь – второе и тоже пока еще не о технике.

Вы спросите: если я не хочу быть тем, не хочу быть этим, не хочу быть еще третьим, то чем же я и кем вообще хочу быть? Вы, может быть, опять удивились, но мне ответить на это совершенно нечего. Откуда же я знаю, что мне, собственно говоря, надо? Вы посмотрите жизни в глаза. Один родился ученым, мыслителем, исследователем, а жизнь сложилась у него так, что у него шесть человек детей, вечная борьба за существование, нищета, серость, забитость и мещанство; и часто бывает так, что этот человек и не догадывается, к чему он был призван и для чего рожден. Другой родился семьянином, хорошим воспитателем детей и будущих граждан, любящим супругом и хранителем чистоты и святости семейного очага. А на поверку – смотришь в силу тех или других обстоятельств, для которых всегда можно найти объяснение, он лезет в ученые, в художники или попадают к нему все дурные женщины, с которыми никакой приличной семьи не построишь; и часто такой человек и не подозревает в себе то подлинное, ради чего он родился и к чему у него наибольшие способности. Конечно, нередко человек оказывается способным найти свое природное назначение и достаточно его в себе развить. Но неизмеримо чаще люди оказываются не в состоянии найти себя; и все, что они ни делают, служит в течение всей жизни только искажением того, что заложено в них от природы. И еще хорошо, если это противоречие дойдет до сознания человека. Тогда возникает конфликт и страдание, которое уже само по себе является все же каким-то суррогатом подлинного нахождения себя в жизни. Чаще бывает, что это противоречие даже и не доходит до сознания, а кроется в темных глубинах души, не смея появиться на свет и облечься в ясное сознание своей (13) бессмысленности. Тогда начинаются неврастения, истерия, всякие неврозы, начинается слабоумие, отупение, духовное огрубение, самомнение, уязвленное самолюбие и весь ассортимент психической извращенности и слепоты, из которой и состоит жизнь толпы. Наконец, еще чаще случаи, когда упомянутое противоречие природы фактической жизни не доходит не только до сознания, но не доходит и до бессознательных конфликтов. И человек живет здоровым краснощеким животным, в то время как ни он, ни окружающие и не подозревают о той идее, с которой появился этот человек в мир, и о том великом, что он мог бы, исходя из этой идеи, сделать.

Но возьмем самое легкое и самое удачное: человек правильно осознал свои природные способности и правильно, причем в достаточной мере, их развил. Вот он, скажем, хороший ученый или хороший ремесленник или хороший семьянин или хороший администратор и т. д. Вы думаете, это и все? Совсем нет. Движимый чисто любознательностью или вполне понятным стремлением к облегчению жизни, Аркрайт в 1769 г. изобрел прядильную машину. Казалось бы, чего же лучше? Вместо длительного, бесконечного прядения, вошедшего в поговорку, – быстрое, легкое, массовое производство. На поверку оказалось: освобождение массы рабочей силы, страшное усиление безработицы и рост голодного и бесправного пролетариата, а в результате – кровавый суд революции. Допустим, данная женщина рождена быть матерью; она правильно осознала свое назначение и даже выполняет его в наилучших условиях. Но вот оказывается: ребенок родился слепым или глухим или идиотом, ребенок родился здоровым, но в дальнейшем вырос хулиганом; ребенок родился и вырос здоровым и физически и морально, но потом случается какое-нибудь

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
несчастье, в результате которого он становится калекой в физическом или моральном смысле на всю жизнь. Спрашивается: стоило ли матери родить такого ребенка? Я знаю, что многие ответят на этот вопрос утвердительно. Но вы же сами отлично понимаете, что утвердительный или отрицательный ответ в этом случае может быть только делом вкуса или слепого каприза. Никто ничего не знает и никто не может предвидеть всех последствий своего поступка, даже самого правильного и благонамеренного.

Но если сама жизнь не дает мне достаточно ясных принципов для поведения, то тем более не дает мне их наука. О науке давайте уже лучше не говорить. Когда мне долбят, что учение – свет, неучение – тьма, что в знании сила, что наука всемогуща, то это, может быть, хорошо в качестве тем для школьных сочинений, но все это само по себе не только наивно, а еще и звучит для меня как издевательство. Сама же наука разверзла бесконечность миров и умопомрачительные расстояния в миллионы световых лет, среди которых ничтожная земля потонула как капля в безбрежном океане, и она же еще смеет говорить, что в знании – сила. Да что же это за знание и что это за сила, когда среди нескольких десятков тысяч градусов температуры, фактически существующей во вселенной, человек может существовать только в пределах всего нескольких десятков градусов, когда и на самом земном шаре – то он живет на какой-то ничтожной пленке в какой-нибудь километр толщиной, а дальше до центра земли еще целых шесть тысяч километров недоступной для жизни среды, включая прямо расплавленную от жары массу. Да ведь это однодневная бабочка устроена крепче и сильнее; паршивая лодчонка, носимая по бурному морю, имеет более выгодные шансы на свое существование. Я не знаю более хрупкого и ничтожного создания, чем человек. Вы только посмотрите: к мозгу не дотронься, к сердцу не дотронься, к нервам не дотронься. И разве это не издевательство, что мозг прикрыт жалкой коробочкой, которую может продавить без всякого инструмента самый несильный человек, что сердце прикрыто жиденькими прутиками, сломать которые доступно уже ребенку, что глаз можно уничтожить слабейшим прикосновением, что слух можно отнять ничтожнейшей соринкой? Наука с ее лесом формул и законов напоминает мне ту довольно-таки глупую и беспомощную природу, которая, чтобы защитить мозг, придумала череп, а чтобы защитить глаза, придумала лоб, брови, ресницы. Надави чуть-чуть на эту преграду, и – нет человека. Так и ваши научные законы. Надави чуть-чуть и – открывается наглая, безмозглая хаотическая тьма и безумие, – я бы сказал, какое-то воинствующее и остервенелое безумие и хаос бытия.

Итак, вот вопрос: я совершенно не знаю ничего существенного ни о себе, ни о других, ни вообще о чем бы то ни было. Но почему-то я должен вести себя так, как будто бы я действительно имел такие знания. Я не знаю и не могу знать ирокезского языка и даже не знаю о существовании такого языка. Но меня на каждом шагу экзаменуют по этому языку, ставят единицы и двойки и грозят всем, вплоть до смертной казни.

А теперь и третье, ради чего я и взял слово. Это третье будет о технике. Вы не захотите, чтобы я повторил здесь об этом предмете банальности, которые вы читали в учебниках и энциклопедических словарях. Вы захотите, чтобы мое суждение о технике вытекало из существа моих собственных взглядов. Но в таком случае мое суждение о технике вытекает из всего предыдущего простейшим и очевиднейшим образом. Я утверждаю: неизвестно, откуда произошла техника и из каких причин; неизвестно, какие она ставит себе цели и куда она пойдет; известно, что она насильственно навязана человеку и человек за нее не отвечает; известно, что человек все время лжет о своей независимости в смысле технического прогресса и о своей мнимой ответственности за него.

Моя ссылка на Беломорстрой есть самая легкая, самая незначительная и пустая ссылка. Гораздо важнее, что я нахожусь в бессрочной ссылке в свое хрупкое и капризное тело, цели которого я почему-то должен преследовать, в то время как мне чужды и непонятны и эти цели и самое тело. Еще важнее, что я сослан в XX век, в определенную социально-историческую эпоху, что мне навязана борьба, которая мне чужда и непонятна и в которой обе стороны для меня одинаково неприемлемы. Но еще хуже и еще незначительнее та бессрочная ссылка в жизнь вообще, которая мне совершенно не нужна в таком виде и которая насильственно навязана мне, как будто бы я сам ее придумывал и осуществлял. У меня душу воротит от всего этого безобразия, гнусности, злобы, беспомощности и ничтожества, которое именуется человеческой жизнью; и я же, оказывается, и виноват во всем этом, я же и расхлебывай чужую кашу. Техника, рассматриваемая с этой точки зрения, тонет в злом, мстительном и беспомощном безумии жизни. После речи Михайлова наступило молчание.

Сам Михайлов кончил речь как-то неловко. Казалось, что он хочет еще что-то сказать, так что молчали еще из-за того, что ожидали какого-то окончания.

Однако Михайлов на этом и кончил; и через несколько мгновений все поняли, что

продолжения никакого не будет.

Довольно долгое молчание прервал упоминавшийся выше Абрамов:

- Со многим, что вы сказали, Сергей Петрович, я вполне готов согласиться, если бы не одна, вредная идея, которая лежит если не в основе, то во всяком случае¹ на переднем плане нашего настроения.

- Я вас слушаю, - сказал Михайлов.

- Скажите, вот эта самая ссылка, о которой вы говорите, она ведь, говорите, против вашей воли?

- Разумеется, как и ваша.

- Нет, меня оставим. Вы сюда высланы против вашей воли?

- Как и вы.

- Так. И вы говорите, что вы расхлебываете чужую кашу?

- Непременно.

- Значит, Беломорстрой для вас - чужая каша?

- Как и вообще жизнь.

- Нет, позвольте. Жизнь оставим. Беломорстрой, говорите, для вас чужая каша?

- Положим.

- И он, говорите, вам навязан?

Тут заговорило несколько человек:

- Оставьте, не надо! Поликарп Алексеевич, бросьте грязное дело!

Михайлов не струсил и довольно бойко заговорил:

- Ни в коем случае! Почему "оставьте"? Ни в коем случае. Тут надо договориться.

Я вас слушаю, Поликарп Алексеевич.

- Так вот, вопрос мой простой, - продолжал Абрамов. - Если Беломорстрой вам навязан, то и советская власть, стало быть навязана?

В комнате начался переполох.

Многие повскакивали с места и начали громко говорить, спорить и кричать. Каждый старался перекричать другого; и я уже начинал побаиваться, как бы это не кончилось следствием по статье Уголовного Кодекса 58.

Невозможно было понять общего настроения присутствующих. Я не мог даже разобрать, был ли кто за Михайлова или за Абрамова. Было ясно только, что в эту маленькую толпу мещан вошло что-то страшное, им непосильное, могущественное, от чего они инстинктивно отмахивались, как Фауст от вызванного им самим Духа Земли.

Надо было что-нибудь предпринимать. Я стал ловить более тихие моменты в словесной свалке и, наконец, заговорил:

- Товарищи! Вы подводите меня. Вы знаете, чем это может кончиться?

Я врал. Мне вовсе не было страшно. Однако другого аргумента я не подыскал.

- Товарищи, - крикнул я еще сильнее. - Это невозможно. Лучше тогда расходитесь.

Слышите? Идите кричать на улицу!

Я полушутя, полусерьезно даже толкнул в спину одного запальчивого спорщика.

Понемногу страсти начали успокаиваться. И громче других говорил опять все тот же Михайлов, который ровно ничем не смутился или делал вид, что не смутился:

- Я вам отвечаю. Слышите? Я вам отвечаю... Тише, внимание! Я вам отвечаю: да, советская власть мне навязана... Да тише же! Но я вам еще что скажу: я имею право так говорить, а никто другой не имеет права так говорить. Да! Другие возражают политически, а я...

- А вы метафизически? - без всякого добродушия вставил Абрамов.

- А я человечески. Не метафизически, а человечески!

- Не знаю, что хуже, - метафизическая или человеческая контрреволюция!

Последнее замечание, однако, внесло почему-то вдруг полное успокоение. И я заметил, что публика настроена против Абрамова, или, по крайней мере, против его резких формулировок.

Воспользовавшись наступившей тишиной, я выдвинул наиболее спокойного оратора из желавших говорить, это - все того же Коршунова, и сказал:

- Ну, слово принадлежит товарищу Коршунову. Андрей Степанович, начинайте!

Коршунов заговорил так.

- Чудное дело! Я вас всегда считал своим противником, добрейший Сергей

Петрович... Но сегодня... сегодня вы меня поразили. Сначала я даже не знал, что и возразить. И только сейчас, всего несколько мгновений назад, я понял, что вы остаетесь моим обычным противником, хотя не знаю, сумею ли я сейчас это достаточно ясно формулировать. Вы утверждаете, что техника, да и вся техническая культура нам навязана. Я тоже утверждаю, что технический прогресс движется сам собою, не спрашивая согласия у отдельных людей. Вы красноречиво говорите, что человеку не дано даже судить об истинных причинах и целях технического прогресса. Я тут тоже с вами согласен. Кое-что ценным представляется мне и в ваших общих рассуждениях о жизни, хотя это уже какая-то философия, а я себя философом не считаю. Но вот, добрейший Сергей Петрович, что вы заслонили от меня

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
своим красноречием и что я все-таки сейчас твердо держу в уме, спохватившись после первого впечатления от вашей речи. Меня обвиняли в фатализме. Но что же получается у вас? У вас ведь получается прямо мистическое учение о судьбе, после которого остается только один разумный выход, это – самоубийство. Не слишком ли вы перегибаете здесь свою философскую палку в сторону пессимизма, иррационализма и даже просто мистики? Не лучше ли будет ограничиваться здесь подходом только естественно-научным? Это ведь и проще и надежнее и как-то чище, безболезненней. Скажите, ведь вы проповедуете судьбу?

- Я совершенно ничего не проповедую, – спокойно и уверенно сказал Михайлов, – тем более не проповедую какую-то судьбу.

- Но ведь это все же фатализм?

- Так получается.

- Ага, значит, и сами вы согласны!

- Я согласен с тем, что так получается, но я в этом совершенно неповинен.

- Но кто же тогда повинен? Вы что-нибудь утверждаете или ничего не утверждаете?

- Я утверждаю.

- Что вы утверждаете?

- Я утверждаю два-три простейших факта. Первый факт, это – полная неповинность в своем появлении на свет. Вы отрицаете этот факт?

- Этого отрицать нельзя.

- Хорошо. Второе: ни вы, ни я совершенно неповинны в той социально-исторической системе, которая сложилась к моменту нашего рождения, – по той очевиднейшей причине, что нас попросту не было тогда, когда она складывалась. Факт?

- Факт.

- Ну, и что же? Разве это не "судьба"?

- Ага, значит, вы утверждаете, что это судьба?

- Я уже сказал, что так получается. Но я ровно ничего не проповедую. Хотите отрицать факты – отрицайте.

- Да нет же! – начинал горячиться Коршунов. – Ровно никаких фактов я не отрицаю. Но я требую, чтобы факты были объяснены.

- Естественно-научно?

- Естественно-научно.

-Но это совершенно не двигает вопрос с места.

-Почему?

- Да потому, что факт все равно останется фактом, объяснили вы его или нет.

-Не согласен! Естественно-научное объяснение покажет, почему сейчас такая техника, а не иная. Вместо судьбы получится ясная логика.

- Андрей Степанович², да с чего вы взяли, что естественнонаучное объяснение вообще возможно? Ведь вы же тут имеете в виду физику и химию, ну, на худой конец биологию? Ведь так?

- Правильно.

- Но какая же физика и химия объяснила факт изобретения плотины Пуаре? Какая это биология, где и у кого объяснила появление факта Беломорстроевских косых ряжей? Ведь для этого надо было экспериментально исследовать химические процессы в организме у Зубрика. Ха-ха! Ну-ка давайте мне формулы для химии мозга у Вержбицкого, когда он компоновал Пало-Коргский узел.

- Этого мы еще не можем сделать, – деловито возразил Коршунов.

- Т. е. до сих пор вы еще ничего не можете объяснить естественно-научно?

- Полностью не можем.

- Да и никак не можете! Естественно-научное объяснение – миф, – ну, если хотите, для нас, т. е. пока еще миф. И прибавляю: самый дурной миф, мешающий всяким другим объяснениям. Но я не хочу об этом спорить. Я хочу сказать совсем другое. Если бы даже ваше естественно-научное объяснение осуществилось, то и в этом случае утверждаемые мною факты нисколько не потеряли бы своего значения. Факты остаются фактами, как их не объясняйте: я хочу жить в XXV или в XV веке, а фактически живу в XX; я не хочу техники, а она есть; или я хочу техники, а ее нет. Отсюда и факт моей безответственности.

- Но ведь это же проповедь анархизма! – перескочил Коршунов на другую тему.

- Я ни-че-го не про-по-ве-ду-ю, – намеренно отдельно произнес Михайлов. – А если так получается, то причем же я тут? Если человеку отрезать голову, то он умрет. Но при чем тут я? Такого хрупкого и ничтожного человека я и не создавал и создавать его вовсе не входило в мои планы. И если бы спросили меня, я бы сам стал критиковать такое произведение. Почему же это моя проповедь?

- Хотите мириться? – мелькнула какая-то идея у Коршунова. Михайлов рассмеялся.

- Хотите?

- Ну?

- Вы вот говорили, что вас спрашивают: как же быть? То – не так, то не так, это

- не так. Чего же вы сами хотите, спрашивают у вас. Как вы сами хотите быть?

- Ну?

- И вы отвечали, что не знаете как быть.

- Да.

- Ну, так давайте мы с вами ответим на этот вопрос немного иначе. Я предлагаю отвечать так: что бы вы ни делали, как бы вы ни думали, - вы будете действовать так, как велено. Вопрос о том, что делать, бессмысленный вопрос. Что бы вы ни делали, вы будете делать то, что предписано.

Тут вмешался в разговор наш геолог Елисеев, слывший за человека старых понятий, хотя, по-моему, несправедливо.

- Кем предписано? - с юмором в голосе спросил он. - Кем велено?

- Природой, - ответил Коршунов.

- Историей, - влез опять Абрамов.

- Неизвестно кем, - спокойно и простодушно, даже немного резонерски сказал Михайлов.

- Ягодой, - неуместно сострил опять тот же писклявый голосок из угла.

Все расхохотались.

- Ну, ладно! - сказал я, стараясь быть серьезным. - Кто еще хочет говорить?

- Позвольте мне, раз уж я вылез, - проговорил Елисеев.

- Ваше слово, - сказал я по-председательски, хотя никто меня не выбирал и не назначал.

Елисеев разговорился не сразу. Мне даже показалось, что он стал жалеть о своем намерении говорить. Начал он не очень складно:

- Мне кажется... Я думаю... Сначала я не о себе... т. е. не о своих взглядах... Я сначала о судьбе... Тут вот не все сказано...

Он смолк, и все молчали.

- О судьбе-то нужно иначе, - опять заговорил Елисеев неуверенным тоном, озираясь по сторонам и смотря почему-то на Михайлова, а не на Коршунова, как можно было бы предполагать, судя по вступлению. Тут он совсем замолчал, и потом после длительной паузы вдруг брякнул:

- Судьба, это - честность... Честность мысли...

Все сразу заинтересовались, и установилась напряженная тишина.

Мало-помалу оратор-таки разговорился:

- Объясняем мы - как? Такое-то техническое усовершенствование имеет такую-то причину... Вот и объяснение. Но разве это объяснение? Пусть телеграф, т. е. появление телеграфа, объяснено как бы то ни было, физически, механически, исторически. Это значит, что указаны какие-то причинные факты и события, из которых он произошел. Но эти факты зависят еще от дальнейших фактов... Разве это объяснение? Это - бессильное отодвигание подлинной причины в глубь времен, и больше ничего. Технический прогресс - необъясним. Подлинной причины технического прогресса неизвестно... По-моему, судьба честнее... Не знаем, и - все!

Тут перебил оратора Абрамов:

- Это вы не знаете, а сами-то вещи имеют же объективную причину?

- Не перебивать оратора! - крикнул я, стараясь, где можно, соблюдать порядок.

- Да, вещи доподлинно имеют для себя объективную причину, - продолжал не смело, но довольно уверенно Елисеев. - Вещи-то имеют причину, а мы ее не знаем: это и есть судьба...

- Не судьба, а временное незнание, - опять не воздержался Абрамов.

- Ах ты, напасть какая! - сделал я рассерженный вид. - Исключить Абрамова на пятнадцать заседаний!

Кое-кто слабо усмехнулся. И Елисеев продолжал:

- Я согласен...

"С чем же он согласен?" - подумал я, но не решился новым вопросом нарушать порядок.

- Я согласен... - говорил Елисеев. - Это, - действительно, не судьба, а временное незнание... Но тогда что же получается? Значит, наступит время, когда мы будем все знать?..

Абрамов, видимо, что-то хотел сказать, но, кажется, стеснялся меня. Я тоже хотел спросить: "Разве для избежания судьбы надо знать все?" Но-я стеснялся Абрамова, которого сам же одергивал.

- Да-с... - продолжал Елисеев. При этом голос его стал тише и как-то таинственнее, что хотя и не входило в мои интересы, но было занятно.

- Да-с... Чтобы не было судьбы, надо знать все... А законы природы... Да мы их просто не знаем. Мы знаем исчезающе-малую часть, так что можно прямо сказать: ничего не знаем. Но пусть даже знаем. Пусть мы знаем все, абсолютно все законы природы. Пусть вся человеческая история, пусть все глубины человеческой души, человеческого общества известны нам так, как, примерно, известно движение земли. И что же-с? Это все - ничто. Ученые слишком овеществляют, одушевляют законы природы. А ведь они вовсе не какие-нибудь реальные силы. Они ведь только

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
 формулы... формулы – объяснены. А силы? А сила откуда? По данному-то закону природы тело движется от какой-то силы?... Да!... Нужно решить не только уравнения, но и объяснить факты, реальную силу факта... Вот тогда и судьбы не будет... Богом-с надо быть, чтобы судьбы не было. Или пусть уж лучше судьба будет... Техника, это – судьба человека....
 Я почувствовал, что необходимо прервать речь Елисеева, хоть раньше сам же запрещал говорить другим.
 – Трофим Иванович, – мягко сказал я. – Разрешите вас прервать. Видите ли... Вы говорите очень интересные вещи, но, к сожалению, у нас так мало времени... Не угодно ли вам поближе к нашей теме?... Может быть, в другой раз...
 – Простите, простите, – засуетился Елисеев. – Я это так... Я даже не об этом хотел говорить... Я хотел говорить совсем о другом...
 – О технике? – спросил я.
 – Да, да, конечно! – сказал Елисеев, немножко нервно поглаживая свои волосы и как бы что-то вспоминая.
 – Ну, вот и хорошо. Мы вас слушаем, – ответил я уже как законный председатель собрания.
 – Только я бы просил... – скромно заговорил Етшсеев, – так, вопросами... Можно без речи?...
 Мне это не улыбалось. Но Елисеев мне нравился и я нехотя согласился:
 – Ну, что же... – промямлил я. – Если так, то...
 – Конечно, давайте разговаривать вопросами и ответами, – сказала Елена Михайловна. – Надоели эти совещания с речами.
 – Ладно, – сказал я Елисееву, – спрашивайте!
 – Вот я спрошу так, – обратился он к Михайлову. – Кушать человеку надо? Михайлов был верен себе:
 – Да я, собственно говоря, не знаю, нужно ли...
 По комнате пошли смешки.
 – Ну, ладно, я не буду ставить своих проблем. А для вас согласимся: кушать надо.
 – Хорошо, – отвечал Елисеев. – Кушать надо. А продолжать потомство надо?
 – Это еще сомнительнее... Но согласимся: надо!
 – Хорошо... Животному надо или человеку?
 – И животному, и человеку.
 – Хорошо... А есть ли какая-нибудь разница в этом отношении между животным и человеком?
 – Есть.
 – Какая же?
 – Человек – личность.
 – Очень хорошо... Значит, в человеке кушает не животное, а личность кушает? Смешки по комнате возобновились, но оба разговаривающие были весьма серьезны.
 – Да, конечно, – отвечал Михайлов.
 – И когда человек вступает в половую связь, то это для него не просто животная жизнь, но и проблема личности?
 – Конечно.
 – У зверя это – физиология. А у человека, это – проблема личности.
 – Согласен
 – Но ведь личность, это же...
 – Свобода, вы хотите сказать? – спросил Михайлов, нахмуривши лоб.
 – Да, личность там, где нельзя принудить. Необходимость исключает личность... Личность – там, где... Да... где свобода..
 – Я вас понимаю, – сообразил Михайлов – Вы хотите сказать как животное, человек погружен в стихию необходимости, физической, биологической и всякой иной, но как личность, – он каждый шаг, осуществляющий эту необходимость, переживает как проблему свободы. Инстинкт пола есть у всякого животного. Но у человека каждый шаг в этой "навязанной" ему /я бы сказал/ области характеризует его личность Так, что ли?
 – Так, так.
 – Но я не понимаю, почему вы это считаете возражением против меня, спокойно, хотя и пасмурно говорил Михайлов
 – А это потому, что вы рассуждаете абстрактно.
 – Я – абстрактно?
 – Да, да! Были и есть такие, которые говорят, что пол в человеке есть только вопрос о функционировании половых желез. Но ведь это абстрактно... Этого нет... Это – абстрактная метафизика против жизни. Вы, конечно, так не думаете. Это ведь значит быть слепым, не видеть жизни. Но вот о технике вы рассуждаете именно так, слепо, абстрактно...
 – Я вас не понимаю

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

- Вы отрываете в человеке то, что ему "навязано", от него самого.
- Но ведь это же и есть различные вещи.
- Различные-то они - различные. Но ведь кушать, это тоже отличается от самой-то личности.
- Так неужели же все, что есть в человеке, есть проблема его личности?
- Все! Решительно все. У юноши появился пушок на подбородке: это показатель роста его личности. Человек много ест и мало ест, много спит или мало спит: это - проблема его личности. В определенный момент у человека просыпается половое влечение, которое выше его сознательных усилий. Казалось бы, при чем тут он-то сам? А, оказывается, то или иное его поведение в этой сфере есть характеристика его личности. Так же и техника. Мы ее с вами не придумывали, как не придумывали и всей нашей современной социальной обстановки. Но и техника и социальная жизнь есть проблема нашей с вами личности. За эти "навязанные" нам вещи мы, оказывается, отвечаем больше, чем за произвольно - предпринятые...
- Но как же это может быть? - недоумевал Михайлов.
- Я ничего не понимаю. Либо я сделал что-то, - тогда я за это отвечаю. Либо я этого не делал, - тогда по какому праву от меня требуется ответ? Ведь это же во всех юридических учебниках написано. Как я могу отвечать за режим, который тысячу лет существовал до меня?
- Абстрактно-с, - повторил свое Елисеев, - абстрактно рассуждаете. Тут-то и видно, что юриспруденция не есть жизнь
- А что же такое жизнь? - запальчиво спросил Михайлов. Елисеев опять нервно погладил себя чуть-чуть дрожащей рукой по голове и ответил:
- Жизнь, это - самопорождение. Да. И сладострастное самопорождение.
- Ну, и ?..
- А, значит, и ответственность.
- За чужие грехи?
- За весь мир.
- Но тогда возможно, что я ответственен за то, чего я никогда и в глаза не видал и о чем не имею никакого представления?
- Не возможно, а так оно и есть. Наибольшая ответственность у нас за то, чего мы и сами не знаем.
- Но ведь это же нелепость! - вскричал Михайлов, чуть-чуть раздражаясь.
- Такова жизнь, - сдержанно и по обычаю скромно отвечал Елисеев.
- Позвольте, вы сказали, самопорождение. Я этого не понимаю. Почему самопорождение?
- Мир существует?
- Мир?
- Да, мир, вселенная - существует?
- Я этого не знаю.
- Как, вы этого не знаете?
- Я этого не знаю.
- А земля, солнце, луна - существуют?
- Как будто.
- Но тогда и мир существует?
- А разве земля, это - мир?
- Земля - не мир.
- Но ведь и луна, и солнце тоже еще не мир?
- Да, но это часть мира.
- Часть мира, но не целый мир. Иначе пуговица будет всем костюмом.
- Хорошо, - нетерпеливо отвечал Елисеев. - Вообще-то что-нибудь существует или нет?
- Как будто.
- Ну, вот это что-то, как бы его не называть, оно ведь есть оно?
- На это я согласен: оно есть оно.
- И оно везде есть оно?
- Оно везде есть оно.
- И в каждой своей части?
- И в каждой своей части.
- И в каждой его части можно узнать его самого?
- Конечно.
- Оно везде утверждает себя?
- Ага! Вы хотите сказать, что если мир существует сам от себя, то и в каждой своей части он утверждает себя от себя, так что каждая вещь, это и есть мир, существующий сам от себя, потому она и отвечает и за себя и за мир.
- Совершенно правильно извольте рассуждать.
- Ну, так я вам скажу вот что, - произнес Михайлов с решительностью в голосе. - Это, товарищи, поповство. Это - стопроцентное поповство!

По комнате прошел тревожный шорох. Елисейев, как всегда, сохранял свое нервное и тоже как будто всегда тревожное спокойствие.

– Я вам сейчас докажу. Я ответствен – да? За чужое, за других, за всю жизнь, за весь мир я ответствен – да? Так позвольте же вас спросить: перед кем же это я вдруг ответствен? Перед Ивановым и Петровым я не ответствен, потому что Ивановы и Петровы – такие же люди, как и я; они тоже кругом опутаны ответственностью и тоже ничего не знают, не знают, за что и как с меня спрашивать ответ. Перед кем же я еще ответствен? Перед обществом или государством? Но ведь это же безличный коллектив, который к тому же, по этому учению, опять кругом ответствен, не зная, за что, как и перед кем. Или, вы скажете, я ответствен перед природой, перед историей, перед жизнью? Но ведь это же пустые слова! Если я отвечаю за себя и за весь мир, то принять этот ответ можно только тот, кто знает весь этот мир. Если нет знающего, то кто же будет судить о том, правильно ли я поступал? Ясно: или подавайте абсолютный разум, тогда я действительно за все отвечаю; или такого разума нет и не может быть, – тогда я ни перед кем, ни за что не отвечаю, так как мне не дано даже знать, в чем я, собственно говоря, виновен.

– Эх, старая это песня, – сказал Абрамов. – Зачем ворошить этот хлам? Во-первых, никакого абсолютного разума нет. Во-вторых, если он есть, то он же за все и отвечает, – отнюдь не человек. В-третьих, для нашей ответственности достаточно уже и относительного разума, а таковым является любая социально-политическая система. В-четвертых, оба вы поповствуете, Михайлов и Елисейев. И, в-пятых, это не имеет никакого отношения к технике. Я ставлю решительно вопрос: будем мы когда-нибудь говорить о технике или откроем тут первый курс духовной академии? Последнее замечание было правильно и всем понравилось. Стали говорить о том, что время уходит на пустые разговоры, а о технике не сказано ничего существенного. Пришлось опять вступить мне в разговор.

– Товарищи, – сказал я. – Мы, действительно, здорово уклоняемся. Я должен спросить присутствующих: желательно говорить о технике или же нам перейти на обще-философские рассуждения?

Большинство хотело говорить о технике.

– Ну, так будем продолжать о технике, – сказал я. Вопросов, поднятых Трофимом Ивановичем и Сергеем Петровичем, нам тут все равно не разрешить. Вот тут было сказано, например, – при этих словах я покосился на Абрамова, – что если абсолют, то он за все и отвечает, не человек. А, по-моему, если мир есть проявление абсолюта (а иначе и быть не может, если признается абсолют), то и ответственность абсолюта за все и есть ответственность каждого отдельного момента мира за весь мир. Кроме того...

– Довольно, довольно! – раздались голоса. – Только что условились говорить о технике! Николай Владимирович!

Я спохватился и начал делать вид, что заговорил случайно:

– Да нет, нет! Я только пример привел. Пример того, как все сложно...

– Не нужно примеров, – говорили в разных углах.

– Слушаю! – сказал я тоном канцеляриста. – Кто хочет говорить дальше? Товарищ Абрамов, вы все время активничаете. Не желаете ли получить слово?

Абрамов сказал, что сначала хочет переслушать других. И вместо него высказался говорить Харитонов, филолог, который у нас в Проектном Отделе заведовал огромным технологическим архивом. В его ведении было несколько тысяч чертежей и объяснительных записок ко всем сооружениям Беломорского Канала и их деталям. Константин Дмитриевич Харитонов был пожилого возраста, с лысиной на макушке, но с длинными волосами сзади, напоминал собою захолустного псаломщика. Сам он был, однако, весьма образованный человек, с писательскими наклонностями, которых он, однако, у себя не развил, что, впрочем, не доставляло ему ровно никакой заботы и – тем более – сожаления.

Харитонов произнес следующую речь.

– Да, несомненно, предыдущие ораторы уклонились от нашей основной темы. Я вернусь к самой технике и буду говорить только о ней, и даже буду излишне педантичным, и начну с определения самого понятия.

Что такое техника? Техника есть, прежде всего, употребление механизмов. Однако было бы слишком большим расширением термина, если бы мы всякое употребление механизма считали уже техникой. Чтобы приподнять камень, достаточно подсунуть под него палку. И хотя рычаг есть элементарная машина, повседневное пользование различного рода рычагами нельзя назвать техникой. Для техники необходимо такое употребление механизма, когда последний становится на место организма. Ведь сам организм не есть весь насквозь только организм. Если взять животный организм, то, например, хотя руки и ноги являются вполне органическими частями этого организма, все же их можно ампутировать, не убивая самого организма. Другое дело – мозг, сердце, легкие. Поэтому всякий организм развивает не только органическую энергию, но и чисто – механическую. И если употребление механизма таково, что

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

оно продолжает только механическую деятельность человеческого организма, то это еще не есть техника. Надо, чтобы сам механизм действовал как организм, т. е. совершенно самостоятельно. Тогда он не только продолжает механические усилия организма, но является суррогатом уже его чисто органических функций. Если соха, борона и плуг требуют для каждого малейшего своего продвижения специального механического усилия со стороны живого существа, то, хотя это и есть некоторого рода механизмы, техника тут еще отсутствует. Когда же, после незначительного усилия со стороны живого существа, плуг начинает действовать сам собой или трактор начинает производить самостоятельную работу, то здесь механизм становится на место организма, и это есть техника. В меру уменьшения количества механического усилия, необходимого для пуска в ход механизма, и в меру увеличения его органического эффекта – можно говорить о степени технического совершенства.

Итак, не входя в детали, можно сказать грубо, но достаточно основательно: техника есть замена организма механизмом. А отсюда и наше отношение к технике. Я думаю, вы не будете спорить против того, что механизм беднее организма, абстрактнее организма, бессодержательнее организма. Что значит организм? Будем исходить из повседневного, совершенно банального, но зато очевиднейшего и непререкаемого опыта: в своих часах я могу заменить любую часть другой, в своем же организме я не могу этого сделать. Вы можете сказать, что это положение дела временное, что наступит время, когда мы будем уметь восстанавливать организм полностью и даже создавать его механически и химически. Я против этого сейчас спорить не буду. Для меня тут важно только то, что подобное возражение равносильно утверждению временности органического бытия вообще. Я беру организм так, как он представляется всякому здравому человеческому опыту, не входя в вопросы о том, временное ли его бытие или вечное.

Итак, в организме есть такие моменты, которые незаменимы. Это для него спецификум. Но что это значит? Это значит, что в отдельных моментах организма сам организм присутствует целиком. Если организм гибнет от удаления одной такой части, – значит, в этой части он присутствовал как таковой, весь, целиком. Как видите, это – тоже элементарнейшее и банальнейшее наблюдение. Но его надо понять. Если в организме жизнь именно такова, что целое присутствует в каждом его моменте как полная субстанция, а в механизме оно присутствует лишь как мертвая схема, то судите сами, что же богаче, что жизненнее, что содержательнее, организм или механизм.

Стремление заменить организм механизмом есть стремление к вырождению, к пустоте; это стремление вполне нигилистическое. Поэтому в технике всегда есть нечто вульгарное, пошлое, в дурном смысле демократическое. Она есть отказ от органических проблем жизни и стремление заменить их дешевыми, общепонятными схемами, которые хотя бы количественным эффектом осилить недоступное им качество. Разве не есть образец глубочайшей духовной пошлости тот самый американец, о котором говорил первый оратор? Техника вышла из глубины человеческого уныния и отчаяния разрешить духовно-органические загадки жизни. Жить в технике, это значит махнуть рукой на субстанциальное устройство духа и отдать себя во власть рассудочных схем. Техника есть царство абстрактнейшей и скучнейшей метафизики, потому что ее душа – схема, а ее цель внедрение этой схемы в живую ткань жизни. К чему стремится техника? К чему это невероятное нагромождение усилий, наук, механизмов, вся эта вечная погоня за усовершенствованиями, мелочная, да крупнокалиберная страсть к развитию, к улучшению, к наилучшему использованию механизмов? Смешно и сказать: эта цель есть цель устройства быта, как бы получше поесть или попить, или как бы это скорее куда-нибудь проехать или как бы это поудобнее спать, двигаться, говорить, действовать. Удобства жизни! Вот она метафизическая пошлость техники, все ее внутреннее, духовное мещанство. Я вас спрашиваю: какая цель технического прогресса? Усовершенствовать пути сообщения, улучшить освещение, получить наиудобное жилище, одежду и пр.? Но ведь это же все только средства. И я вас спрашиваю: к чему средства? И техника ответа не дает. Она средства превращает в цель, потому что цели у нее никакой нет или, вернее, цель ее пустота и духовная смерть.

Эти слова Харитоновы начинали меня волновать. И я уже был не рад, что согласился на всю эту дискуссию о технике. Что-то начинало волноваться у меня в груди и чуть-чуть только не подступало к горлу. Я старался, однако, сохранять полное спокойствие и даже шепнул Елене Михайловне о том, что ряд стаканов остался без чаю и что не мешало бы их налить.

Харитонов продолжал:

– В механизме все заменимо. Это значит, что механизм не ценит материю. Любая материя здесь возможна: не металл, так дерево, не дерево, так камень, не камень, так минерал и т. д. Это значит, что техника не нуждается в материи как таковой. Она для нее – только арена бесконечных рационалистических пируэтов, только

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
подмостки для скучнейшего и пошлейшего балета бескровных схем. Техника ненавидит материю, презирает тело, проклинает живой организм, хулит красоту и глубину живой действительности. А организм существенно нуждается в материи, в теле; ему это не только не безразлично, но он часто просто гибнет, если вы производительно замените в нем одну материю другой. Техника есть зависть живому телу, так же, как она есть клевета на живую душу. Ей непосилен творящий гений жизни, и она бездарно ставит вместо него облезлые схемы абстрактного рассудка. Во всяком техническом усовершенствовании есть что-то наглое, это – какая-то озлобленная безвкусица, озлобленная на жизнь, на гений, на любовь, на свободу духа, на красоту, которая дается даром, без усилий, на все наивное и самородное. Я бы сказал, это воинствующее духовное безвкусие, остервенелая бездарность, звериное по форме, но скучнейшее по содержанию насилие над природой и насилие над человеком, которое носит грубую и неискусную маску прогресса, альтруизма и разумного совершенствования жизни. Техника, это – царство несуществующего, которое держится только тем опиумом, которому человек поддается по своей слабости. Это – царство социальных привидений, холодного и могильного мрака души, склеп загипнотизированного духа.

Я уже давно дрожал от слов Харитонов и не знал, как скрыть свое волнение. Хотелось сорваться с места, куда-то бежать, биться головой об стенку; хотелось броситься на мостовую и кричать из самой последней глубины, кричать на весь поселок, на весь Канал, кричать на весь мир.

Харитонов тихо и выразительно вещал:

– Только кустарь есть настоящий творец. Он делает всю живую вещь и делает ее своими живыми руками. Я признаю только ремесло. Скрипка Страдивариуса есть дело кустаря, и – как бездарна перед ней всякая машина, дающая в тысячах экземпляров бездарный, пошлый продукт! Техника, это самозабвение творчества и отсутствие сосредоточенности, т. е. отсутствие самого духа. Техника, это сплошная суматоха, гвалт, базар, истерия, перманентная паника. Только бы ни на чем не сосредоточиться, только бы ни за что не ухватиться! Ей чужда роскошь наивности, роскошь простоты, глубины непосредственного чувства жизни. Она возникла из развала самой субстанции личности и питается ее сухим, рассудочным развратом. Когда действует машина – кажется, что кто-то страдает, чья-то глубокая и нежная душа истязуется, что-то стонет и надрывается в неведомых глубинах жизни, кто-то страшный и безликий бьет по родному лицу...

– Да замолчите ли вы, наконец, – с рыдающим воплем бросился я к Харитонову, как бы намереваясь его ударить, но только сильно схвативши его за плечи.

Харитонов смутился и замолчал. Я же бросился почему-то к окну, упал на колени перед окном и прильнув лицом к подоконнику, громко и истерически зарыдал. Тотчас же многие стали вставать с места и подходить ко мне с утешением, хотя, думаю, едва ли кто-нибудь отдавал себе отчет в подлинной причине моих слез, раз она не была ясна и мне самому.

– Что с вами? Николай Владимирович, что с вами? Встаньте. Что с вами?

Успокойтесь, – твердили вокруг меня участливые голоса. Подошел Харитонов с ласковыми и честными словами:

– Николай Владимирович... Простите меня... Если я чем-нибудь виноват, простите меня... Я совсем не хотел вас обидеть... Такой случай... Совсем не было в мыслях...

– Оставьте меня! – продолжал я свою истерику. – Прочь от меня! Я вам отвечу!

Слышите ли вы? Я вам отвечу...

– Милый Николай Владимирович, – искренно недоумевал Харитонов. Голубчик вы мой, да в чем дело?

– Я вам отвечу, – кричал я, вставая с полу и утирая слезы. – Вот мой ответ: я – строитель Беломорского Канала, я – ударник Беломорстроя! Слышите? Я уже несколько месяцев подряд на красной доске! Слышите? Это я бетонировал шестой шлюз! А Хижозеро помните? Кто ликвидировал катастрофу на Хижозере? А?

Тут я с кулаками подступил к скромному и недоумевающему Харитонову, как бы желая его побить.

– Кто вовремя послал рабсилу на Хижозеро? – кричал я на весь дом. – А? Вы в это время в архиве сидели... Вот мой ответ: я – ударник Беломорстроя!

Я выхватил из кармана свою книжку ударника и с силою бросил ее к ногам Харитонova.

В это же время донесся до меня шепот Михайлова на ухо Коршунову: "Какой же это ответ?! Разве это ответ?!" Тот что-то отвечал, но я уже не мог этого расслышать.

Понемногу я оправлялся. Сказавши свои последние слова, я вновь сел на свое место за столом и несколько раз отхлебнул чаю из своего остывшего стакана. Публика вела себя довольно неопределенно. Многие тоже стали занимать свои старые места.

– И потом, что вы тут городили? – продолжал я плаксивым, но почти успокоившимся

голосом. – Вы обвиняли технику в абстрактности....

Но тут меня рвануло опять и я снова закричал, сжимая кулаки:

– Да как вы смеете? Кто вам дал право?..

Харитонов подняв мою книжку Беломорского ударника, положил ее на стол передо мною, подошел ко мне ласково и как-то особенно бережно заговорил, взяв меня за руку:

– Дорогой мой... Я нехотя задел какие-то ваши больные струны... Но ведь я меньше всего имел в виду вас... Я говорил вообще. И я почти совсем не знаю ваших взглядов, ни ваших чувств...

Я посмотрел на добрые глаза Харитонова, и – мне стало стыдно за свое поведение. Я вдруг отрезвился, как будто некий дух, мною завладевший, мгновенно оставил меня. Я сразу почувствовал себя опять хозяином квартиры; и мне стало досадно, что я не овладел собою вовремя и так распоясался. Правда, мои извинения стали бы звучать пошло. Поэтому я и не приносил их. Но было ясно, что все поняли меня и не обижаются на меня.

– В вашей речи, – сказал я Харитонову совсем спокойным и окрепшим голосом, – мне послышалось что-то давно знакомое, что-то родное и мягкое... Но все ваши слова, ... они... простите меня... неуместны...

– Вот это первое правильное слово, – громко сказал Абрамов. – Прежде чем обсуждать эту речь по существу (хотя я совершенно не знаю, что в ней можно обсуждать), надо прямо сказать: она – неуместна! Это – самое мягкое, что о ней можно сказать.

– Но если она неуместна, – возразил Харитонов, – тогда тем более неуместно ее и обсуждать.

Михайлов, Коршунов, Елисеев и Елена Михайловна стали протестовать, утверждая, что неуместную речь вполне уместно критиковать. Согласился только Абрамов:

– А я думаю, что эту речь действительно нечего критиковать. В старину было хорошее правило: нельзя рисовать черта на стене.

Я стал решительно возражать против Абрамова:

– Нет! Ни в каком случае! Что-то мы должны сказать по этому поводу. Да знаете что?.. Поликарп Алексеевич, – обратился я к Абрамову, – говорите вы. Правда, говорите вы...

– Нет уж, Николай Владимирович, – закокетничал тот, – пожалуйста увольте. Говорите лучше вы.

Я знал, что ему хочется говорить больше, чем мне; и я сказал:

– Ну, ладно. Я начну. Но только, чтобы продолжали вы!

Абрамов согласился, не выражая этого согласия явно. А я произнес следующее:

– Любезный Константин Дмитриевич! Вы нарисовали увлекательный миф: и мне досадно, что я сам прервал его на самом захватывающем месте. Ваши слова звучали, как красивая музыка, уводящая от действительности и погружающая в сладкие и завораживающие мечты. Но я спрошу вас только об одном: как же это делается? Как сделать это так, чтобы тут была не просто обманчивая, хотя и сладкая мечта, но чтобы тут была настоящая и крепкая действительность? Ваша речь, если подходить к ней объективно, конечно, имела острую направленность против техницизма наших дней, и тут можно употребить гораздо более резкие выражения для оценки ваших высказывании. Я этого делать не буду, так как Поликарп Алексеевич, по-видимому, и без меня осветит эту сторону дела достаточно. Я буду говорить совсем иначе. Я спрошу: как это сделать, как эту мечту сделать действительностью?

Вы, по-видимому, расцениваете коммунизм как царство техницизма. Самым решительным образом я буду протестовать. Техницизм-как раз буржуазно-капиталистическая стихия...

Тут Михайлов опять шепнул Коршунову на ухо: "Это и значит, что коммунизм есть типичное буржуазное мещанство". Случайно услышав эти слова, я чуть было не обратился к Михайлову, но потом решил держать себя в руках и не прерывать намеченной нити разговора.

– Коммунизм, – продолжал я, – не есть примат техницизма. Наоборот, техника здесь совсем не самодовлеет; она подчиняется здесь высшему началу...

– Диктатуре пролетариата? – брякнул Коршунов, желая быть язвительным. Я спокойно продолжал:

– Вы можете по-разному относиться к диктатуре пролетариата, но вы должны признать, что коммунизм не есть какое-то обожествление техники и что, наоборот, техника здесь только средство. Это, Константин Дмитриевич, первое.

Второе. Вы продолжаете думать по старым либерально-интеллигентским методам, что большевик, это – самый примитивный, самый схематический и элементарный человек.

Вы думаете, что проблемы жизни в смысле организма стоят только у его врагов. Я это ощущаю совсем иначе. Большевик, это самый сложный человек современности.

Кажется, и вы признаете не одну только западно-европейскую, индивидуалистическую сложность. Я вам скажу больше: коммунизм как раз и имеет своей исторической

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
миссией вернуть человека к непосредственному ощущению жизни и подчинить машину человеку настолько, чтобы не она владела им, а он ею. Вы нам дали музыку органической философии, но что вы сделали для того, чтобы механизм и всю техническую стихию именно подчинить человеку? Вы дали ряд абсолютных требований. И в своей абсолютности они звучат непримиримо, они – почти призыв к восстанию. Но если бы мы послушались вас и стали, ну если не вооружаться для восстания, то хотя бы вредительствовать на сооружениях нашего канала, то вы же первый стали бы нас удерживать и, я уверен, забежали бы от нас за тридевять земель. Что это такое, добрейший Константин Дмитриевич? Я вам скажу, что это такое. Это, простите меня, безответственность, ... чтобы не сказать больше...
Харитонов вдруг заговорил, воспользовавшись моей случайной паузой:

– Не надо... Николай Владимирович... Не надо так... Ведь все же понятно...

Он говорил мягко и скромно, с какой-то внутренней, тихой непоколебимостью.

– Понятно то, что у нас сейчас контрреволюционная организация, громко крикнул Абрамов, плохо прикрывая суровость своего тона улыбкой и смешками.

– Позвольте, позвольте, – затормошился я. – Свои кляксы над і вы еще успеете поставить, Поликарп Алексеевич. Итак, я утверждаю, – обратился я к Харитонову, – что вы своими абсолютными требованиями задерживаете овладение техникой в смысле примата человека, а большевизм осуществляет вашу мечту о господстве организма над механизмом.

– И потому, – заговорил Елисеев, – он громоздит за Магниткой Беломорстрой, за Беломорстроем Москаналстрой, за Москаналстроем московское метро?

– Но я уже сказал, – было моим ответом, – что большевик – самый сложный человек современности. Было бы формализмом и нигилизмом проповедовать одну технику, не подчиняя ее высшим принципам. Но я утверждаю, Константин Дмитриевич, что и ваш голый абсолютизм есть формалистика и нигилизм или, в лучшем случае, только эстетика. В большевизме я ощущаю и эту жажду непосредственного органического переустройства жизни и овладение западной техникой, без которого он был бы шагом назад, а не шагом вперед...

– Ха-ха! – засмеялся Абрамов. – Хорошенькая штучка: большевизм в роли насадителя феодальных идеалов! Ну, и возразили же вы, Николай Владимирович. Ха-ха!

Я отвечал:

– Вы можете употреблять какие угодно термины. Но я утверждаю две вещи: большевик жаждет непосредственной жизни, и большевик хочет быть выше техники, а не ниже ее. И, если хотите, третье: большевик потому самый сложный человек современности.

– А знаете... – зашептал вдруг Елисеев, – мне это нравится... Тут что-то есть...

Я не слушал Елисеева и продолжал:

– И, наконец, я выскажу еще одну идею. Если вы хотите найти сейчас в мире место, где еще не заглох идеализм, где существует подлинная духовная жизнь с ее творчеством, с ее падениями и взлетами, то это – СССР. Культурный мир погряз в мещанстве, в материальных интересах, в заботах об удобстве жизни. Ни одна страна не переживает тех конфликтов и тех свершений, которые творятся у нас. Америка слишком материалистична, чтобы допустить у себя роскошь коммунизма. Западный человек слишком любит теплое, спокойное местечко, чтобы решиться поднять на своих хилых плечах всю тяжесть нового переустройства жизни. Под влиянием пережитого и переживаемого каждый мещанин у нас мудрее Канта и Гегеля; и никакому западному профессору философии и не снилась та глубина проблем, которая ежедневно, ежеминутно открыта перед взором нашего последнего простолюдина. Нужно быть слишком искренним романтиком, слишком самоотверженным человеком, чтобы жить у нас в унисон с эпохой. У нас разрушены наши старые гнезда, и бытовые, и идеологические; каждый из нас плывет над бушующей бездной истории, могущий каждую секунду погибнуть и каждую секунду быть вознесенным к самому кормилу власти. Это дает нам знание, которое неведомо никаким мещанам мира, какие бы кафедры они не занимали на Западе. Мы перенесли голод, холод, кровавые гражданские войны и несем еще и теперь тяготу повседневной борьбы за торжество нашей идеи. Только мы – не мещане, и только у нас – настоящая духовная жизнь, ибо духовная жизнь есть не рассуждение, а жертва, жертва всем ради идеи, СССР – столп и утверждение мирового идеализма. А вы – со своим нытьем об организме!..

– Ну, это уже из другой оперы, – сказала Елена Михайловна.

– Опера-то, может быть, и та же самая, – заметил Харитонов, – но ария, несомненно, совсем другая...

– Однако, что же вы на это скажете? – спросил Абрамов.

– Я скажу, что взгляды Николая Владимировича отнюдь не целиком чужды мне. Надо только одно не упускать из вида, что, мне кажется, он упускает. Ведь история – как идет? Если бы человек был достаточно силен, истории бы совсем не было.

– Новое дело! – усмехнулся Абрамов. Многие с интересом взглянули на Харитонова.

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosofff.org

- Что такое история? - продолжал Харитонов. - Это - ряд бесплодных попыток. Если бы человек был достаточно силен, он не рассыпался бы по эпохам, а утвердил бы сразу все, что есть во всех эпохах.

Тут вставился Елисеев.

- Послушайте, но тогда это была бы вечность?

- Я и говорю, - отвечал Харитонов. - Тогда не было бы истории.

- Но история есть, - сказал Абрамов.

- Но история есть, - согласился Харитонов, - и потому все существует только отчасти. Каждая эпоха, это-только отчасти.

- Каждая эпоха есть историческая необходимость, а не "отчасти", наставительно заметил Абрамов.

- Каждая эпоха есть историческая необходимость, - терпеливо говорил Харитонов, - и каждая эпоха есть "отчасти".

- Но к чему вы это ведете? - спросил я не без любопытства.

- А к тому я веду, что каждая эпоха, не будучи в силах воплотить в себе все, однако, воплощает в себе что-то общее, общечеловеческое. Она всегда отвечает каким-то живым потребностям и способна заполнить всего человека.

- Заполнить всего человека? - с недоумением спросил я.

- Разумеется, да. Какая бы ущербная, какая бы узкая и односторонняя идея ни лежала в основе данной культуры, - раз эта идея выдвинута историей как очередная, она всегда способна заполнить всего человека, со всей его наукой, моралью, философией, искусством, даже мистикой. Поэтому, когда вы говорите об идеализме и романтизме большевиков, это ровно ничего не говорит о широте и правильности их идеи. Можно влюбиться в машину и обожествить ее, - получится и свой идеализм, и свой романтизм, и своя мистика. Можно обожествить соху и борону, - получится тоже полнота жизни. Можно идолопоклонствовать перед Беломорским Каналом, и он окажется предметом и философии, даже искусства, даже, если хотите, мистики и религии.

- Так, значит, по-вашему, - сказал я, - во всякой эпохе есть общее, или общечеловеческое; оно, по-видимому, есть то, что вами приемлется. И во всякой эпохе есть нечто узкое, частичное, вот это самое "отчасти", оно, насколько я вас понимаю, вами не приемлется.

- Совершенно правильно.

- Но ведь вы же сказали, что решительно каждая эпоха есть только частичная эпоха. Значит, вы не приемлете всей истории?

- Я не приемлю частичного в истории.

- Но ведь в истории все частично.

- И все обще.

- Но ведь надо или принять или отвергнуть?

Харитонов помолчал. Тут опять заговорил Елисеев.

- Почему же это или признать или отвергнуть? Можно и то и другое...

В комнате заулыбались.

- Я вас спрашиваю, - заговорил я. - Вы ведь приемлете социализм как общее?

- Несомненно, - ответил Харитонов. - Наравне со всем прочим.

- И работаете на него?

- Как и на все другое.

- Хорошо. А социализм как частное - вы приемлете или нет?

- Я на него работаю.

- Нет, вы скажите, принимаете ли вы его как историческую частность?

Харитонов улыбнулся, как взрослый при виде наивного озорства ребенка.

- Вы же знаете, что философ - всегда шире... философа нельзя всунуть в какую-то одну эпоху. Мысль нельзя сузить... - говорил Харитонов, впрочем, без всякого заискивания.

- Итак, социализм есть узость, которая для вас неприемлема? настаивал я.

- Но социализм не только узость...

- А поскольку он - узость?

- А поскольку он - узость, он есть очередная эпоха, т. е. историческая необходимость.

- Но тогда в этом есть нечто общее, и вы его принимаете?

- Несомненно, в необходимости есть нечто общее и в этом я его принимаю...

Все расхохотались.

- Запутались вы все, вот что! - снисходительно, хотя и сквозь смех, сказала Елена Михайловна. - Вот вам, товарищи, пример никчемности всякой философии. Два просвещенных, образованных человека запутались в трех соснах из-за одного только пустого словопрения и схоластики. Я себя чувствую прямо как в кабаре. Ведь это же смешно, товарищи! Николай Владимирович, посмотрите на народ, - все же смеются!

- А вот в наказание за такие слова, - шутя сказал я, - извольте-ка сами

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

рассказать нам о технике. Хорошо это вам скептические замечания отпускать, а вот не желаете ли сами высказать что-нибудь такое простое-простое, чтобы сразу все вас поняли и с вами согласились. Ну-ка!

- Ну, что же тут такого особенного! - бойко сказала Елена Михайловна Я не люблю длинных речей, но самое простое, самое очевидное, чтобы вас всех отрезвить, я готова сказать...

- Ну-ка, ну-ка! - ответил я.

- Я скажу кратко, - говорила инженерша. - Самое главное, это - чувство меры. Никто, никто из говоривших не проявил разумного чувства меры, и отсюда - вся наша беседа. Возьмем хоть первого оратора, Коршунова. Ну, дело ли чтобы был такой непроглядный фатализм. Ну, правда, общество сильнее отдельного человека, технический прогресс вовлекает в себя отдельных индивидуумов. Но нельзя же в XX веке проповедовать судьбу языческих философов, которая была несколько тысяч лет назад. Возьмите Сергея Петровича. Он изобразил нам такой тупик, что не только от техники, но и прямо от жизни ничего не останется. Ни тебе знания, ни тебе свободы, ни тебе выбора, ни тебе ответственности. Да ведь это же сумасшедший дом получается, а не жизнь! Еще один оратор, наоборот взвалил на человека такую ответственность, что, оказывается, последний даже и не знает, за что ему надо отвечать, а отвечает. Теперь вот последние два оратора. У обоих один, общий недостаток: отсутствие чувства меры. Оба ударились в мистику, в романтизм, прямо я бы сказала в мифологию. Что Константин Дмитриевич пустил настоящую мифологию, это уже отмечалось. Но и Николай Владимирович сделал из советской власти сплошной романтизм. Ну, конечно, я согласна: большевик - неподкупен, большевик хочет овладеть техникой и в смысле культуры, учебы, и в смысле подчинения ее человеку, и т. д., и т. д. Но к чему же тут вся эта риторика о идеализме СССР, о духовной жизни советского гражданина и т. д. Ведь это же все риторика, эстетика, а главное полное необладание чувством меры. Надо, товарищи, меру знать. Меру знать надо, товарищи!

"Какая пошлость!" - мелькнуло у меня в голове. Кто-то сзади меня шепнул кому-то: "А жизнь-то как раз и не знает никакой меры".

- Интеллигентщина! - брякнул вслух Абрамов.

Я погрозил ему пальцем, а Елена Михайловна продолжала:

- Да! Это взгляд интеллигентного человека, и я ничего не нахожу в этом дурного. Интеллигентность там, где человек пытается овладеть дикими инстинктами своего тела и своей души, где в человеке развивается чувство меры. Вы все, решительно все размахиваете кулаками, кому-то грозите, кого-то хотите убить или уже убили, у вас в руках кнуты и нагайки. Я считаю, - прибавила Елена Михайловна, - что вы все азиаты, деспоты, варвары. Вы все только приказываете и готовы запороть каждого слушника.

- Гнилой либерализм! - подхватил Абрамов. - В буквальном смысле слова гнилой либерализм. Эти песни мы знаем. На них вы нас не проведете.

- А вы все равно никого не убедите поркой.

Тут вмешался я:

- Извиняюсь, Елена Михайловна! Я считаю, что единственно чем можно убедить утонченного интеллигента, это -только поркой.

- Поркой нельзя убедить даже скотину, - возразила инженерша.

- Скотину нельзя, а униженного интеллигента можно и должно.

- Ну, что ж! У вас, вероятно, есть опыт на этот счет. Я вам верю.

Кое-кто начал по этому поводу зубоскалить.

- Ну, хорошо! - сказал я громко, чтобы заглушить смешки.

- Значит, о технике вывод ваш такой: "Медленным шагом,

Робким зигзагом,

Не увлекаясь,

Приспосабливаясь,

Если возможно,

То осторожно

Тише вперед,

Рабочий народ!" Так в 1905 году высмеивали меньшевиков. Это ваш лозунг, Елена Михайловна?

- Я никогда меньшевичкой не была, но это -да. Это, пожалуй, действительно мой лозунг.

- Ну спасибо, по крайней мере, за откровенность! - воскликнул я. - Я удовлетворен и больше никаких вопросов не имею.

- Позвольте мне, позвольте мне! - назвалса один из двух, еще не говоривших (не считая девицы-чертежницы). - Я имею чувство меры. Хотите оратора с чувством меры?

- Валяйте! Давайте! - раздались голоса.

Оратор был из тех "утонченных интеллигентов", о которых я говорил только что. Он

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
был из художественной среды, хотя кем он был в точности раньше, я не знаю. Здесь сотрудничал в Беломорстроевской газете "Перековка".

- Вы думаете, я - испуганный интеллигент, - заговорил он изящным столичным выговором, - который боясь разоблачений, только и может говорить невинные пошлости? А вот и нет! Я не буду говорить, что такое техника вообще. Я вам скажу, что такое техника здесь, у нас на Беломорстрое. Вы знаете, что я вам скажу? Ежедневно, вернее еженощно вы слышите как по всему Беломорстрою раздаются - и на дворе, и в домах - тягучие и плаксивые, но в то же время бодрые и даже маршеобразные мелодии фокстрота Эта штука вся состоит из однообразной ритмической рубки, как бы из толчения на одном месте, но вся эта видимая бодрость и четкость залита внутри развратно-томительной, сладострастно анархической мглой, так что снаружи весело и бодро, а внутри - пусто, развратно, тоскливо и сладко, спереди - логика, механизм, организация, а внутри - дрожащая, вызывающая, ни во что не верящая, циничная и похотливая радость полной беспринципности.

"В чем дело, к чему это словоизлияние?" - думал я

- Сейчас будет все ясно, - как бы отвечал на мои мысли изящный оратор - Мы и наша работа - фокстрот. Мы - бодрые, веселые, живые, наши темпы резкие, броские, противоположность всякой вялости. Но внутри себя мы пусты, ни во что не верим, над всем глумимся и издеваемся. Нам все равно что подписывать и за что не голосовать. Мы - вялые, анархичны, развратны, мы млеем, дрожим, сюсюкаем, и все там, в глубине, расхлябанно, растленно, все ползет, липнет, болезненно млеет, ноет, развратно томится, смеется над собственным бессилием и одиночеством. Беломорстрой, вся эта колоссальная энергия строителей, это - наш интеллектуальный и технически-выразительный, производственный и социальный фокстрот. Наша ритмика - бодрая, свежая, молодая; и наши души - пусты, анархичны и развратны. У нас на Беломорстрое - томительно, бодро, жутко, надрывно, весело, пусто, развратно.

- Это, милейший, - прервал я его, - вы говорили в старое время в московских салонах. Тогда это звучало романтично. Отдавало Шопенгауэром, Вагнером, Листом. А теперь...

- А разве у нас сейчас не романтизм? - подхватил говоривший - Разве мы не энтузиасты? Разве мы не влюблены в производство?

- Позвольте, - удивился я, - вы сами сказали, что вы ни во что не верите...

- Извиняюсь? - самодовольно ответил оратор. - Романтизм - что такое? Романтизм, это - то когда все объективные ценности разрушены, а осталась только их психологическая реставрация. Тогда-то их и начинают переживать изнутри и проецировать эти переживания на умерший объективный мир. Когда умирали Средние века и развивалась светская, торгашеская буржуазия, а вся благородная знать была волею истории втянута в это мировоззрение, появился романтизм, байронизм, Шопенгауэр и пр. Все эти байронисты волей-неволей служили, работали, думали вместе с буржуазией (пользуясь ее наукой, техникой, учением, учением о всеобщем бездушно механизме и пр.), но они отличались от нее чувством гибели великого прошлого и превращением его только в одно субъективное томление. Философия Шопенгауэра, это умственный фокстрот эпохи господства буржуазии. Ну, а мы - кто такие? Мы не теряли средневековые, мы - мещане, мы - потеряли свой домашний уют, печечку потеряли, самоварчик, квартирку, пухленькую женку, купончики. И мы не можем забыть этих дражайших нашему сердцу и все же как-никак объективных ценностей. Вместо них у нас сейчас, на Беломорстрое, только томление, потому что объективно мы втянуты в огромное строительство и в созидание социализма, как 100-150 лет назад были втянуты в чуждое нам строительство промышленного капитализма. Ну, вот вам теперь и все понятно. Фокстрот, это и есть наш романтизм. Это - единственный романтизм, на который мы способны. Мы - романтики!

- Это - философия вредительства! - раздался голоса - Вас нужно изъять.

- Власти думают иначе, - бойко отвечал оратор. - Лучше Канал с фокстротом, чем ортодоксальное благонравие без Канала.

- Да кто же, по-вашему, строит-то Канал? - запальчиво спросил я.

- Гнилая интеллигенция! - был ответ.

- Которая живет по способу фокстрота?

- И проводит политику партии!

- А рабочие?

- Рабочие на Канале - или шпана или колхозники. Первые жили всегда фокстротно, а вторых - мы научили теперь

- Слушайте, товарищ, - уже не улыбаясь и без дружеских нот заговорил Абрамов -

Если бы я близко вас не знал и если бы я действительно думал, что вы потеряли пухленькую женку и купончики и втянуты в чуждое вам строительство и что от этого-то и зависит ваш энтузиазм, ваш фокстротный романтизм, я... я бы на вас

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
донес. Я бы сделал мотивированное донесение о вашем вредительстве и агитации. Ведь это же дико! Это – чудовищный цинизм и разложение!

Тот, пожимая плечами, разводил руками, вздыхал и – улыбался в ответ.

– Ведь это не ваши взгляды.. – бормотал я себе под нос. – Это – ваш философский анализ...

Оратор продолжал пожимать плечами и улыбаться.

– Факт на лицо, – сказал он – Буржуазия, контрреволюционная, разложившаяся, гнилая интеллигенция – строит первый по размерам в мире Канал, строит в полтора года 11 шлюзов, 18 плотин, 40 дамб, 200-верстный водный путь среди непроходимых лесов, болот, гор – во славу мирового коммунизма.

– Да неужели же вы думаете, – набросился я, – что это возможно только в результате физического принуждения?

– Но разве я говорил о физическом принуждении? Наоборот, я говорил о романтизме. А ведь всякий романтизм есть, прежде всего, воодушевление.

– Но ваш романтизм есть романтизм разврата; это – энтузиазм, родственник алкоголизму, эротомании и пр.

– Да чего же вы, в самом деле, хотите от нас, от всех, кто строит Канал? – оживленно возражал оратор. – Ведь вы же не утопист?

– Я не утопист.

– А тогда – как же вы можете думать, что вся эта бездомная, размагниченная орава, оторванная революцией от родных домов, от семьи, от элементарного человеческого уюта, вся эта разноголосая, растрепанная масса людей и людишек, выбитая из своей колеи, потерявшая свою идею и свой путь и волею истории пересаженная в несколько лет из тысячелетней азиатской деспотии в активный коммунизм, – как же вы можете думать, что она и всерьез настроена коммунистически? Я не понимаю, как, по-вашему, она должна себя вести и чувствовать?

– Но вы сейчас это так расписали, – сказал я, – что у вас не получится даже и фокстротного романтизма, а получится только эксплуатация негров в Америке.

– А вот тут-то вы и ошибаетесь. Эта масса вовлечена в огромную стройку и заражена энтузиазмом.

– Энтузиазмом разврата?

– Энтузиазмом строительства в условиях внутреннего опустошения духа после революционных потрясений.

Я замолчал.

В комнате тоже все что-то смолкли. На несколько мгновений воцарилась какая-то подозрительная тишина.

– Ах, надоели эти панихиды! – заговорил еще один, уже последний оратор из неговоривших, девица-чертежница отказалась говорить.

– И все вы, товарищи, ноете, все вы кого-то отпеваете. Ведь это же зауспокойный вопль, что мы сейчас слышим. Давайте я вам скажу что-нибудь повеселее. Тем более я – последний из неговоривших.

– Но мы ведь еще не ответили на предыдущую речь, – сказал Абрамов.

– Пусть говорит Борис Николаевич, – ответил я, указывая на нового оратора. – На предыдущую речь мы с вами еще ответим.

Борис Николаевич, инженер-механик и большой любитель художественной литературы, произнес следующее:

– Я не хотел говорить, потому что был вполне уверен в банальности своего взгляда. Я думал, что его выскажут прежде всего. Но вот больше уже некому говорить, а взгляд этот не только никем из говоривших не был намечен, но проповедовалось такое, что в корне его исключало. Однако сейчас, после того, как здесь было высказано столько умных слов, я тоже постараюсь этот банальный взгляд облечь в возможно более умные формы, хотя, впрочем, потребность в этих последних у меня более глубокая и, должен признаться, не все тут продумано мною до конца. Вы, товарищи, забыли о самом главном. Вы забыли о самих сооружениях, о произведениях техники. Говорили о технике психологически, говорили этически, говорили социологически и даже политически, но ровно же никто из нас и ни одним словом не коснулся техники эстетически, художественно, никто не рассмотрел техники с точки зрения самих же сооружений.

Конечно, эта точка зрения вполне банальная. Все восхищаются или делают вид, что восхищаются произведениями технического искусства. Вошло в обычай восторгаться успехами технического прогресса, и тон приподнятого чувства и восторженного излияния – обычный итог всех писаний на этот счет в течение, кажется, нескольких столетий. Однако эту банальность я хотел бы несколько углубить, исключивши из нее – на время, по крайней мере, – лирику и развивши в ней мыслительную основу. Это, конечно, легко сделать, превративши свою оценку технического произведения в чисто научное, научно-техническое же обследование. Но я хочу углубить художественное содержание технического произведения в направлении не

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
формалистическом, но, если можно так выразиться, философском.
Я исхожу из простейшего факта художественности всякого подлинного произведения техники. Разве техника не есть искусство? Разве паровая машина, динамо-машина, дизель – не красота? Разве аэроплан, дирижабль, электровоз – не есть что-то красивое, сильное, мощное, мудрое и глубокое? Не будем впадать в экзальтацию, в болезненные преувеличения и в протivoестественные восторги. Кто-то из старых футуристов говорил, что шум автомобиля прекраснее поцелуя женщины. Поэты-урбанисты и даже музыканты воспевали в стихах и в симфонических поэмах автомобили, аэропланы, разные моторы. Это все – бездарность. Поцелуй женщины есть поцелуй женщины, и никаким автомобилем его не заменишь. Поэты и музыканты также имеют и всегда будут иметь предметы, более достойные для воспевания, чем бензиновые двигатели. Но, отбросивши все эти загибы и преувеличения и отнесясь к делу максимально трезво и здраво, мы все же должны сказать: техника, это красота. Посмотрите, как работает хотя бы пишущая машина. Попробуйте всмотреться в детали – ну, хотя бы какого-нибудь музыкального инструмента посложнее, вроде фортепиано или пианино. Да, наконец, вдумайтесь в эту, в конце концов простейшую аппаратуру – радио. Разве вы не находите здесь тончайшей мысли, воплощаемой в изощренную материю? При всем утилитаризме и практицизме этих вещей, – разве вы не ощущаете величие свободного, незаинтересованного творчества на этих вещах, какую-то божественную игру духовных сил человека, ничуть не меньшую, чем любая большая симфония или поэма? Вы посмотрите, как тонко вычислена и прилажена каждая малейшая часть механизма, как не упущен ни один облегчающий момент, как нет здесь ничего лишнего, как все движется гладко, свободно, непринужденно, естественно, легко. Тут говорили, что техника хочет поставить механизмы на место организма. По этому поводу была отслужена обычная для наших философов панихида и начались надгробные рыдания. Но к чему все эти перипетии, весь этот исторический гиперболизм? Всякому здоровому сознанию ясно, что никакой механизм никогда не заменит организма и что техника вовсе и не ставит себе таких задач. Техника принизила и обесценила бы свои собственные произведения, если бы стала так рассуждать. Организм – организм, и в нем своя специфическая красота, но не мешайте и механизму быть механизмом и не отнимайте у него ту красоту, которая для него специфична и которая только в нем и имеется.
Есть, однако, некоторая правда в тех словах, когда говорилось, что в технике механизм хочет стать на место организма. Но только правда эта не в том механическом сатанизме, который убивает все живое, а в том, что механизм, взятый сам по себе, есть как бы нечто живое, то самородное, мудрое, наивное, глубокое, что составляет сущность всего живого. Не в том смысле здесь жизнь, что механизм должен все поглотить и превратить действительность в безжизненную схему. Повторяю, жизнь нельзя ничем заменить, и – тем более нельзя ее заменить механизмом и техникой, да техника и бесконечно далека от этих задач. Но в механизме есть своя механическая – жизнь, свое неподдельное, рождающее лоно бытия, откуда истекает его красота, как из поэтического волнения рождается художественный образ. Всякий механизм – прекрасен как произведения гения, как осуществление вечной мечты, как игра свободного духа с самим собою, наивная и глубокая, так что я бы сказал, что тут есть нечто божественное, божественно-прекрасное, нечто олимпийское, некий вечный пир улыбчивых, счастливых античных богов.
В связи с этим мне всегда казались слишком сентиментальными, – прямо скажу, неумными, – обычные восторги профанов перед техническим прогрессом, вся эта пошлая газетная лирика по поводу технических изобретений и открытий. Техника гораздо глубже, красивее, утонченнее, чем все эти трафаретные и твердо-заученные вопли о человеческом прогрессе. Тут, с одной стороны, опять неестественный гиперболизм: технике навязывают такие культурные, воспитательные и вообще социальные задачи, которых сама она никогда и не ставила и, если бы поставила, то никогда и не смогла бы разрешить. А, с другой стороны, вся эта подвывательная лирика отнимает у технического произведения его душу, самый его смысл, ту глубочайшую основу художественного вдохновения, без которой оно никогда и не появлялось на свет. Забывают, что Эдисон – вдохновенный созерцатель вечных идей, не хуже Гете и Бетховена, не хуже Платона. Думают, что Эдисон только и заботился о жизненных удобствах, создавал свои бесконечные изобретения, и не знают, что это был уединенный аскет, спавший два часа в сутки, погруженный в эрос своих технических видений.
Чтобы осознать и достойно оформить технику в этом смысле, мне кажется, необходимо привлечение самых крупных и самых глубоких философских систем. Тут не обойдешься плоским позитивизмом, мелким мешанским материализмом или ползучим эмпиризмом. Я еще не придумал такой философской системы, чтобы схватить и достаточно всесторонне осознать все духовное богатство технического произведения. Но я готов привлечь любую из тех, которые были в истории, лишь бы

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

она была крупной, серьезная и зрелая. Так, я думаю, в философии техники мы в значительной мере могли бы быть платониками. Каждое техническое произведение имеет свою идею; и эта идея есть не просто отвлеченная схема, совокупность формул и уравнений, но она также идеальный прообраз, фигурный символ вещи, вечная и прекрасная модель бытия. В неведомых глубинах духа, в музыкальной бесконечности его интимного самоощущения рождаются эти вечные формы, сияющие светлой красотой, – как из музыки внутреннего восторга рождается живая плоть поэтического образа. Но если вы не хотите быть платониками, будьте хотя бы кантианцами. У вас, может быть, пропадет весь романтизм; вы отнесетесь к техническому произведению более трезво и сухо; вы будете объективно и научно наблюдать бесконечную смену разнообразных технических форм. Но вы все же не потеряете абсолютной специфики технической красоты, вы все же сумеете дать ей надежное и крепкое место в системе человеческого духа. Каждый реальный механизм вы будете обосновывать как трансцендентальную необходимость. Он будет для вас сплетением субъективных категорий человеческого духа, но это сплетение будет логической необходимостью, оно будет далеко от того беспорядочного произвола, в свете которого толпа вообще переживает технику. Произведение технического искусства предстанет перед вами как формальная целесообразность без всякой научно-эмпирической цели, как предмет вполне незаинтересованного, свободного наслаждения, как всеобщее-необходимая, неотразимая значимость игры чистого интеллекта с самим собою.

Но оставим и кантианство. Я готов пойти даже на феноменологию Гуссерля. Существует ли произведение технического искусства или нет, я не знаю. Преследует ли оно какие-нибудь реальные цели, я не знаю. Существуют ли я сам, верящий и воспринимающий технические формы, я не знаю. Кроме того, что такое мировоззрение, что такое философия и даже что такое вообще теория я не знаю и знать не хочу. Но что такое данная техническая форма, если я ее сознаю, – вот вопрос, которые я уже не могу обойти молчанием. Я могу мыслить или не мыслить⁴ вещи; и вещи могут существовать или не существовать. Но если я их мыслю, то – как я их мыслю, – вот это меня интересует. Вокруг меня плещется бесконечная и плохо различаемая жизненная тьма. Сам я тоже ни за что не отвечаю; и не знаю, что буду утверждать завтра, буду ли утверждать и будет ли самое "завтра". Но вот сейчас, в это мгновение времени перед моим сознанием вскинулась одна или несколько технических форм. И-я могу ответить на вопрос: что это такое? Я вижу сущность этих форм, которая если и не существует реально, то это меня совсем не касается. Гуссерлианство объединяет абсолютную анархическую текучесть бытия с точнейшим трансцендентальным и притом умственно-фигурным, насквозь наглядным и воззрительным его обоснованием. Я ни во что не верю и ничего не знаю, и все же – соблюдена точнейшая сознательная картина бытия, абсолютный умственно-фигурный аналог бытия в сознании. Это – синтез совершенно релятивистического импрессионизма и математически-четкой научности.

Я, товарищи, совсем не сторонник этого учения. Но все же лучше гуссерлианскими способами спасти специфику технического произведения, чем растворить его в плоском утилитаризме или в пошлости провинциальных восторгов профана, повторяющего свои излияния в силу предрассудка и непродуманной традиции. Как хотите рассуждайте и какие угодно философские методы применяйте, но только в своих рассуждениях о технике не будьте могильщиками, гробовщиками, не нойте как старый больной зуб, не хнычьте как раскулаченные мещане, не нервничайте как беременные женщины. Жизнь сурова, а искусство – весело, сказал Шиллер. Я же скажу так: жизнь сурова, а техника – весела, игрива, музыкальна. В ней есть певучесть гения и легкая ажурная радость свободы.

Эх вы, беломорстроевские ударники!..

Тут Борис Николаевич кончил.

В его словах, несомненно, прозвучало что-то бодрое и радостное: и публика, явно ему сочувствовала, хотя и не все понимала из его рассуждений.

– Bravo, bravo, Борис Николаевич, – воскликнул я, захлопавши в ладоши.

– Это – правильно! – снисходительно заметила Елена Михайловна. – Я тоже так думаю.

– Здорово, здорово! – присоединились и многие из ранее неверивших.

– Действительно, почему это мы все угробливаем, к чему бы ни прикоснулись? – опять заговорил я. – Ведь вот, Сергей Петрович, который проповедовал безответственность человека в техническом прогрессе, он, небось, и не думает, что его учение – гроб, а сам он своим фатализмом прямо укладывает, запарывает всех нас...

– Порка, порка! – заметила опять Елена Михайловна. – Все время тут запарывают или прямо душат. А разве елисейское мракобесие не душит, не угробливает всех нас?..

– Да, – со вздохом продолжал я. – У Бориса Николаевича что-то есть...

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

Тут, однако, к моему удивлению стал возражать сам Борис Николаевич:

- Но вы, Николай Владимирович, о чем хлопочете? Ведь вы сами - первый гробовщик!

- я - гробовщик?

- Ну, конечно, да! Когда вы начинаете доказывать, что советская система есть историческая и диалектическая необходимость, - ей-богу, помирать хочется.

- А разве это не есть необходимость?

- Да оно-то так, необходимость. Но вы-то все хотите угробить.

- Что же, все-то?

- Да хоть ту же вашу советскую власть.

- Разве диалектически вывести значит угробить?

- Пока это, вот что, любезный Николай Владимирович. Легкости нет, человечности нет... Уважения к человеку нет...

- Ну, тут мы зайдем с вами очень далеко, - сказал я скучающим голосом, - не лучше ли вернуться к вашей теме?

- А моя тема какая, - юно и задорно говорил Борис Николаевич, - чтобы спасти красоту и духовную радость техники и не раздавить ничьей головы, никого не повесить и не распять. Терпеть не могу, когда начинают возвеличивать технику в сравнении с музыкой, искусством, философией и пр. Там-де глупости, сентиментальности, отсталость, а вот тут-де и ум, и прогресс, и наука. Это угробливание искусства ради техники - для техники только унизительно. Наш брат, инженер, часто грешит этим презрением по адресу всех прочих областей духовной культуры. Но ведь это же - тупость, узость, непонимание самой техники. Если бы мы всегда видели в технике ее собственную, специфическую красоту, то для возвеличения этой красоты не надо было бы принижать красоту других областей. Потому-то инженеры и принижают всякую красоту, что они не понимают красоты самой техники. Просто вообще никакой красоты не понимают, ни технической, ни какой иной. Разумеется, для меня техника - это все. Но это уже вовсе не потому, что она - техника, но потому, что она - моя профессия: и у меня лично к ней, конечно, гораздо более интимное отношение, чем у других. Но я вовсе не думаю, что все должны быть инженерами и что на свете вообще ничего нет выше техники. Иначе придет зоолог, занимающийся яичками у беспозвоночных, и начнет требовать, чтобы все стали изучать только эти яички, и что выше их и ценнее их вообще нет ничего на свете... Вот эту-то идею я и хотел пропагандировать. Техника - замечательное, завораживающее царство вечной красоты, но не запарывайте несчастных людей. Техническое произведение верх красоты и художества, но зачем же у людей головы отрывать?

- Позвольте мне! - сказал вдруг Михайлов. - Сначала ваше построение показалось мне тоже довольно основательным. Но как раз во время вашего последнего разъяснения я почувствовал, что я должен вам возразить. Мое возражение простое: ваше построение абстрактно, нежизненно...

- Как! - удивился Борис Николаевич. - Эстетическое чувство абстрактно, нежизненно?

- Не эстетическое чувство абстрактно, - ответил Михайлов, - но абстрактна та изоляция, в которой оно у вас оказывается. Техника прекрасна, говорите вы. Но откуда же происходит эта красота? Что за источник ее? Нельзя же восторгаться красотой технического произведения и закрывать глаза на то, откуда оно само происходит?

- Но это у меня предусмотрено, - ответил Борис Николаевич. - Я ведь говорил о творческой глубине сознания, откуда рождается техническое произведение и его красота.

- Рост производительных сил, вот что! - авторитетно вставил Абрамов. А не какая-то там творческая глубина сознания.

- Ну, пусть будет рост производственных сил, - охотно согласился Борис Николаевич. - Согласимся пока, что это просто какой-то рост... Какой рост и чего именно рост, можно пока оставить и без рассмотрения...

- Ха! Выкинул самое главное! - насмешливо сказал Абрамов.

- Я ничего не выкидываю, - отвечал Борис Николаевич. - Но только обвинять меня в изолировании технического продукта - совсем не приходится.

Мне тут тоже захотелось присоединиться к Михайлову, упрекнув Бориса Николаевича в излишнем эстетизме, как вдруг начал говорить опять Абрамов своим постоянным сухим и насмешливым тоном:

- Вы перебрали все реакционные формы философии, вплоть до Канта и Платона. Вы дали мистическое описание произведения техники. Что же с вас теперь требовать насчет неотрыва техники от жизни?! Всякая философия упоминалась, на всякую систему вы согласны. Только диалектический материализм вами не упоминался, и только на него вы несогласны и неспособны!

Борис Николаевич махнул рукой и сказал:

-Это-целая клоака... Отсюда не выберешься!

- Порка! - ехидно сказал Абрамов. - Ну, скажите прямо: порка, снятие голов!

- Я не понимаю, почему вы так возмущаетесь? - спокойно возразил Борис Николаевич. - Разве вы сами когда-нибудь были против порки и снятия голов? Можно подумать, что вы - какой-то невинный младенец...

Абрамов рассердился.

- Да, мы снимаем головы, где находим это нужным.

- Вот-вот, - говорил Борис Николаевич, - я это как раз и говорю, что вы снимаете головы, где находите нужным.

- Но вы, кажется, возражаете против этого?

- Да, я считаю, что для эстетической ценности техники это не необходимо.

- А реакционная философия необходима?

Боясь, как бы не вышло ссоры, я решил вмешаться в разговор и сказал:

- Поликарп Алексеевич, оставим это... Давайте лучше попросим Бориса Николаевича ответить на один вопрос, который вы мельком затронули... Борис Николаевич, как, по-вашему, можно было бы подойти к художественной стороне технического произведения с точки зрения диалектического материализма? Если вы не можете или не хотите отвечать, пожалуйста не отвечайте. У нас найдутся и другие вопросы.

- Нет-нет, почему же? - не смущаясь говорил Борис Николаевич. - Но только, раз речь заходит о сегодняшнем дне, то, как вам известно, здесь мне многое претит, и без исключения всей этой области я не смогу сказать о диалектическом материализме ничего иного.

- Вы - что имеете в виду? - спросил я.

- Я вам скажу открыто, потому что уже не раз эти мысли я выражал открыто. Мне претит самодовольное глазение на произведения технического искусства. Мне претит мещанская погоня за материальным устройством жизни, это нахождение счастья в зажиточной жизни, в радио, в собственных фордиках, в разноцветных костюмах и галстуках, в электрических нагревательных приборах. Мне претит этот тривиальный восторг перед авиатехникой, водными и подводными путями сообщения, эта радость по поводу удешевления цен и увеличения съестных припасов. Я не переношу этих вечно смеющихся физиономий в газетах, этой так называемой "здоровой и веселой радости" наших парков и гуляний, где все счастье состоит только в отсутствии глубоких проблем, а здоровье - только в сытом желудке и физкультурной потере времени. Словом: мне претит пошлость, духовная пошлость жизни, бездарное мещанство духа. Исключите все это из техники и из отношения людей к технике; и - вы получите и настоящую технику, и настоящее отношение к технике.

- Но причем же тут диалектический материализм? - недоумевал я.

Абрамов не дал ответить Борису Николаевичу и тоже сказал:

- Вы должны обвинять в этом буржуазный мир, а не пролетариат, который как раз и борется с этим мещанством. А смеяться мы, товарищ, будем! Да! Вы нас не заставите плакать! И смеяться мы будем последними!

- Я вот и хочу, - продолжал в том же тоне Борис Николаевич, - чтобы было больше смеху. Больше смеху, но меньше пошлости. Трагедия и слезы всегда менее пошлы, и радость всегда как-то бессодержательнее, беднее. А я вот и хочу, чтобы смех был тем сильнее, чем благороднее, - как у блаженных олимпийцев, которые, кажется, только и делают, что хохочут.

- Да, причем тут диалектический материализм? - нетерпеливо домогался я.

- А притом, Николай Владимирович, - с ясной и лукавой улыбкой ответил мой собеседник, - что олимпийские боги, это-то вот и есть настоящий диалектический материализм.

- Ну, тогда я монархист, - с хохотом сказал я, - потому что моя любимая форма правления, это тоже - царство Берендея в "Снегурочке" Римского-Корсакова.

- Я тоже не прочь признать царя Гороха, - сказал более мягко Абрамов, - с условием только, чтобы не быть шутком гороховым...

Все весело подсмеивались и довольно долго шутили и каламбурили, обрадовавшись, что ссора, которая почти уже началась, так быстро рассосалась в ряд анекдотов. Было уже больше десяти часов вечера, и надо было подумывать об окончании нашей беседы.

На правах хозяина, я принужден был взять на себя эту инициативу.

- Товарищи! - сказал я. - Уже одиннадцатый час, мы сами постановили завтра, 2-го мая, работать. Нам нужно подвести какие-нибудь итоги. Кроме того, Поликарп Алексеевич, которому мы, конечно, очень благодарны за постоянное участие в беседе, все же еще не высказался в систематической форме. Я думаю, оба эти момента можно будет объединить, общее резюме и его собственное выступление. Мне также казалось, что подведение итогов нашей беседы должно быть и нашим общим делом. Поэтому я предлагаю так: пусть тов. Абрамов высказывается, имея в виду подведение итогов, а мы будем вносить свои поправки.

- Идет! - согласился Абрамов.

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

- Начинайте! Слушаем! - согласились и прочие.

- Я начну с того, - сказал Абрамов, - что выставлю общий критерий, с точки зрения которого нужно говорить о технике. Мне кажется, вся пестрота высказанных у нас сегодня мнений зависит именно от того, что ораторы не условились, с какой же точки зрения они будут подходить к технике. Всякий подходил по-своему, а потому многое оказалось противоречивым даже из того, что вовсе таковым не является... Кроме того, многие из говоривших бессознательно исходили из таких предпосылок, которые испугали бы их самих, если бы они стали их формулировать. Пусть не обидятся Коршунов и Михайлов, если я скажу, что их критерий - мелкобуржуазное бунтарство, Елисеев, что его критерий - фашистский неофеодализм, Елена Михайловна, что она левобуржуазная либералка, Борис Николаевич, что он - эстетствующая рантьерская крупная аристократия эпохи разложения и пр. Правда, я должен сказать, что у многих из говоривших грех всей философии является невольным грехом, так как они не могут произвести над собою того анализа, который производит над нами советская власть. Но за то им и прощают их ошибки, хотя они и вполне достойны суровой кары.

В противоположность всему этому я начинаю с твердого критерия, и только после его установки можно будет говорить о технике и ее месте и значении. Мой критерий - социализм!

Тут я не утерпел и сказал:

-Нет!

- Что - нет? - удивился Абрамов.

- Это слово потеряло для нас всякий смысл. Буржуазный мир тоже полон всякого рода социализма. Говорите яснее!

- Я полагаю, - ответил Абрамов, - что критерием для техники должен быть социализм, а критерием для социализма - общественность.

- Нет! - опять отрезал я решительно.

- Как! И это нет? - опешил Абрамов.

- Разве вы не знаете, что Франция - страна юристов и адвокатов, что Англия - классическая страна общественности, что под лозунгом прав человека и гражданина выступала французская буржуазная революция?

- Ну, да, конечно, не просто общественность, - поправился Абрамов. Равенство! Общественность ради установления равенства.

- Нет! - свирепствовал я.

- Как! Вы отрицаете равенство?

- Да! Я отрицаю равенство!

Абрамов даже испугался:

- То есть вы хотите сказать... другими словами... не то, чтобы...

- Уравниловка, обезличка, потребительский социализм, - все это к черту, к черту!

- кипятился я.

- Но как же так?

- А так, что социализм или дрянь, о которой не стоит говорить, или он есть сфера максимального расцвета личности и лич-нос-тей!

- Но тогда не будет равенства!

- Да на какого дьявола вам равенство? Будет равенство в куске хлеба. Ну, и довольно с вас!

- Но более сильная личность, - заговорил Коршунов, - захочет побольше и кусок.

- Ну, и пусть захочет, - ответил я.

- Но ведь тогда, - продолжал Коршунов, - придется отнять у слабейшего.

- А вот этого-то мы и не дадим, - сказал я. - Вот это-то и будет социализм, когда сильнейший ест сколько хочет, а слабейший тоже ест сколько хочет.

- Ну, так что же? - соображал Абрамов. - Значит, с равенством надо расстаться?

- К черту! - ответил я.

- Тогда вот что. Вы говорите, очевидно, о правильном распределении. Социализм, это не просто равенство. Социализм, это - организация, рационализация, плановость!

- Нет, - опять со строгостью высокого начальника отрезал я.

- Ну, это уже начинает отдавать опереттой! - немного обиженно заговорил Абрамов.

- Тогда я уже не знаю, чего вам, собственно говоря, надо.

- Мне надо, чтобы социализм был противоположностью капитализма. А вы как раз подсовываете буржуазные критерии. Вот вы говорили об общественности. Может быть, вы еще о выборности заговорите? Неужели вы не понимаете, что выборность есть принцип большинства, принцип большинства есть ползучий эмпиризм, ползучий эмпиризм есть идеология субъекта, живущего только внешними ощущениями и забывшего о собственной и всякой иной субстанции, а этот внешний субъект есть всецело и насквозь европейский возрожденский мещанин! И этот мещанский критерий, когда гласит не сама истина, высшая, чем всякое большинство голосов и чем все голоса, вместе взятые, вы будете считать критерием нашего социализма? Теперь вы

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
говорите о плановости. Да разве не буржуазный мир отличается от средневекового именно этой расчетливостью, калькуляцией, бухгалтерией, организованным предпринимательством и т. д. Извините меня, этот критерий – всецело буржуазный.

- Но он у нас на первом плане!
- Он у нас играет огромную роль – и по праву. Но он совсем не на первом плане.
- Тогда я не знаю, что такое социализм.
- Вы хотите определить социализм в пределах буржуазного мира или за его пределами?
- Конечно, за его пределами.
- Но тогда странно, почему вы не знаете, что такое социализм.
- Ага! Социализм предполагает классовый подход...
- Во-первых, не социализм предполагает классовый подход, а марксизм. Во-вторых, классовый подход предполагает не марксизм, а французские реакционные историки эпохи Реставрации – Гизо, Тьер, Тьерри и пр.
- Ха-ха-ха! – рассмеялся Абрамов, еле-еле скрывая свое смущение. – Вот тут-то вы и показали свое лицо. Марксизм без классового подхода! Ха-ха-ха!

Я не сказал, что марксизм-без классового подхода. Я сказал, что марксизм – не только это.

- Диалектика! – блеснула мысль у Абрамова. – Диалектика, вот душа марксизма и социализма.
- Нет! – резал я по-прежнему. – И не диалектика, и не диалектика! Диалектика – Гегель, Фихте, даже Платон. Диалектика была у самых густых мистиков!
- Ха-ха-ха! – продолжал дрябло смеяться Абрамов, но по существу не знал, как ему быть дальше и что говорить.

Я заметил его смущение под деланным смехом и решил ему помочь:

- Поликарп Алексеевич! – сказал я. – Если социализм действительно противоположность капитализма, то ведь последний же основан на примате изолированного субъекта. Следовательно? – Следовательно, социализм есть общественность.
- Но общественность может тоже состоять только из изолированных субъектов.
- Тогда она не общественность.
- Тогда она буржуазная общественность.
- Ну, а социализм?
- А социализм основан на вне-личной общественности.
- Скажите откровеннее, – вмешался Михайлов. – На безличной общественности!
- На безличном абсолюте! – подсунул Елисеев.
- На абсолюте безразличия! – дополнил Борис Николаевич.
- На фокстроте! – не то всерьез, не то в шутку процедил изящный оратор, говоривший о фокстроте.
- Товарищи! – взмолился я. – Тут говорили о порке... Вы меня хотите запороть...
- Ну, ладно! – пытался по-прежнему быть рассудительным Абрамов, не обративший внимания на последние восклицания. – Ладно! Если социализм основан на вне-личной общественности, то что же это значит?
- Вот! – деловито сказал я. – Вне-личное значит объективное. Вне-личное значит не созерцательное, а раздельное. Но личность тоже может быть общественно-деятельной. Значит и этого мало. Вне-личное там, где продукт объективной деятельности тоже вне-личен. Что же такое вне-личная объективная деятельность личности, дающая тоже вне-личный продукт? Это производство!
- Абрамов опешил, и многие тоже повесили носы.
- Ну, что же вы молчите, – говорил я нетерпеливо. – Примат производства, вот и все!

Думали, что я выведу какую-то небывалую философскую категорию, а оказалось... Абрамов оказался восприимчивее других и сказал:

- Не производство, а производители!
- Правильно! – сказал я.
- Пролетариат?
- Правильно!
- Примат пролетариата?
- Правильно!
- Диктатура?
- Правильно!
- Диктатура пролетариата?
- Правильно!
- Ха-ха-ха! – раскатился Абрамов, но уже не тем боязливым и недоуменным смехом, а смехом удовлетворения и облегчения, который бывает у счастливых и довольных людей.
- Чего же вы закатываетесь? – спросил я.
- Шалуны! Ей-богу, шалуны!

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

- То есть как это шалуны?
- Какого перцу загал! И не общественность, и не равенство, и не плановость, и не классовость... А оказывается, все на месте. Все как миленькие на месте! Шалунишка! Чего же огород-то было городить?
- Нет, не скажите, Поликарп Алексеевич! Тут должна быть четкость мысли. Иначе не будет противоположности с буржуазным миром.
- После этого слово попросил Харитонов, тот самый, который перевозил организм перед механизмом, говоривший до этого времени только вполголоса и при том короткими замечаниями.
- Я осмелюсь задать один вопрос, - сказал он. - Николай Владимирович полагает, что социализм есть максимальный расцвет личности и личностей. Тут же оба вы пришли к заключению, что спецификой социализма в нашем понимании является диктатура пролетариата. Я думаю, что тут некоторое противоречие. Как по-вашему? Заговорил Абрамов:
- У нас полная свобода! И полный расцвет!
- Для помещиков и дворян?
- Нет, зачем же для помещиков и дворян...
- Но также и не для фабрикантов и не для духовенства?
- Конечно!
- Стало быть, свобода и расцвет только для пролетариата?
- А крестьянство забыли? Сто миллионов!
- Позвольте, в крестьянстве тоже есть кулаки, середняки...
- Ну, скиньте несколько миллионов!
- Все равно! Ведь поскольку выдвинут примат пролетариата, а не крестьянства, постольку крестьянство может войти в эту систему только в пролетаризированном виде.
- Конечно! Колхозы и совхозы!
- Итак, настаивал Харитонов, - свобода и расцвет признается вами только для пролетариата и для пролетаризированного элемента?
- Разумеется, как и на Западе только для буржуазии.
- Значит, в этом отношении вы подражаете буржуазии.
- Но вы забываете, товарищи, - защищался Абрамов, - что мы также проповедуем уничтожение классов. Диктатура пролетариата существует только для того, чтобы уничтожить все прочие классы и упраздниться самому пролетариату. Это не забываете!
- Разрешите не согласиться, - настаивал Харитонов. - Что значит "упраздниться самому пролетариату"? Ведь не так же надо понимать это учение, что пролетариат просто убьет себя, как самоубийца кончает пулей или петлей. Тогда бессмысленна и вся революция. Зачем добиваться власти, если после получения этой власти властвующий просто возьмет, да и перережет себе горло, преподнеся тем самым власть неизвестно кому? Нет... Я думаю иначе. Прочие-то классы пролетариат, действительно, хочет уничтожить всерьез и начисто, а себя самого он должен упразднить так, чтобы от этого дело его только выиграло. Для этого надо уничтожиться так, чтобы, правда, потерять всякое оформление и структуру как именно отдельного класса, но чтобы в то же время разлиться по всему миру, по всей истории, войти во все поры человека, в его мозг, в его сердце, в его душу, как воздух присутствует сразу везде и без него нет никакой жизни, а сам он бесформен и невидим. Я думаю, только о таком самоупразднении пролетариат и может мыслить, ни о каком другом. Но тогда и в бесклассовом обществе свобода останется, в конце концов, только для пролетариата.
- Да ничего подобного! - горячился Абрамов. - Раз вы сами говорите, что пролетариат превратится в общий воздух, которым будет жить человечество, - что же тогда и останется кроме этого воздуха?
- То есть вы хотите сказать, что все человечество превратится в пролетариат и тем самым он как класс уничтожится?
- Конечно! Для кого же вы будете еще требовать свободы, если никого больше и не будет кроме пролетариата?
- Но это будет свобода - с точки зрения данной же эпохи истории.
- Но ведь о данной эпохе и идет речь!
- Почему же? Мы можем обсуждать эту эпоху с точки зрения другой эпохи, - наконец, с точки зрения свободы вообще.
- С точки зрения абсолюта?
- Да... Хотя бы с точки зрения абсолюта.
- Но, к сожалению, никакого абсолюта нет.
- А относительное есть?
- Относительное есть.
- И только оно и существует?
- Да.

- И больше нет ничего?

- Нет.

- И, значит, оно зависит только от себя?

- Конечно.

- И оно всегда и везде?

- Я уже вам сказал, что кроме относительного вообще ничего не существует.

- Но что же у вас получается? Вы признаете существование "относительного", которое есть всегда и везде, которое одно и существует и притом ни от чего не зависит, а зависит только от себя. Тогда это и есть абсолютное?

- Это не абсолютное, но относительное.

- Тем не менее это относительное вы сами изображаете как абсолютное?

- Совершенно верно. Вы абсолютным называется абсолютное, я абсолютным называю относительное.

- Но тогда как будто прав я, а не вы?

- Все равно! В бесклассовом обществе будет полная свобода для всех, потому что для кого она могла бы не быть, тех не будет, а кто захотел бы дать иную свободу для всех, у того не будет никакого для этого критерия, ибо без воздуха, наполняющего его атмосферу, он все равно не сможет жить.

- Значит, - не пойман, не вор.

- Да! Поймать-то мог бы только абсолют.

- Значит, и не вор?

- Значит, и нет категории воровства.

Тут взмолился я жалобным голосом:

- Товарищи! Невозможно! Будем мы когда-нибудь говорить о технике или нет?

Кажется, вопрос стоит ясно: для технического прогресса выдвинут абсолютный критерий - диктатура пролетариата. Спрашивается: что такое техника в эпоху диктатуры пролетариата?

Этот вопрос поставлен так ясно, что, кажется, даже несочувствующие диктатуре пролетариата могут тут высказывать правильные вещи. Угодно обсуждать этот вопрос или мы опять ударимся в философию?

- Надо кончать, надо кончать! - говорили многие. - Время идет.

- Тогда, - сказал Абрамов, - я перейду к оценке высказанных у нас взглядов с точки зрения выставленного критерия.

- Слушаем! Просим! - говорили присутствующие.

- Критерий диктатуры пролетариата важен тем, что это не есть принцип отвлеченный, философский, но диктатура пролетариата есть живая действительность. Если бы она была отвлеченным принципом и осуществлялась в качестве такового, то, - добавил Абрамов с улыбкой, - все присутствующие давно были бы уничтожены... В комнате послышался смех, но не столько насмешливый иронический, сколько почтительный и даже благодарный.

- Диктатура пролетариата. - продолжал Абрамов, - и есть то, с точки зрения чего мы смотрим на технику. Техника - служанка диктатуры пролетариата. Отсюда уже легко дать ей и положительную и отрицательную характеристику. Начну с отрицательной.

Мы отвергаем "технику для техники", так же как принцип "искусство для искусства" или "наука для науки". Взгляды эти вызваны потребностями дифференцированного, самоуглубленного субъекта, относящегося к действительности пассивно и не желающего ее переделывать. Техника в этом смысле, равно как и наука, искусство, мораль и всякая иная сфера духовной жизни, сказывается объективной проекцией только одной стороны личности. Потому она и не переделывает самой действительности, но, соглашаясь с нею как с таковой, в ее субстанции, переделывает лишь ее внешние формы, подобно тому, как врач стал бы лечить гангрену не лечя ее причину, заражение крови.

Мы отвергаем и научно-технический подход к технике. Он нужен студентам, исследователям, изобретателям, самим инженерам, так как не владея математикой, механикой, физикой, химией, строительным искусством и т. д., конечно, нельзя владеть и техникой. Но для нас это - только глина и камень, из которых мы строим здание социализма.

Мы отвергаем и всякий потребительский подход к технике. Конечно, техника, не облегчающая нашей жизни, личной и общественной, нам совершенно не нужна. Но чистое потребление совсем не есть наш принцип. Если надо, мы пойдем на голод, на неравномерное распределение, на сокращение техники в смысле потребительского принципа, потому что есть у нас цели несравненно более высокие, чем простое потребление. Это - бесклассовое общество, к которому мы идем через диктатуру пролетариата.

Мы отвергаем и эстетический подход к технике. Мы, разумеется, признаем только художественно-высокие произведения технического искусства. И если мы здесь еще часто хромаем, то ведь всякому же ясно, что мы еще учимся и что проделанные

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
успехи вполне гарантируют нам высочайшую художественность нашей техники в будущем. Но все же ни красота, ни искусство—как таковые—не являются нашим принципом. Мы не просто глазами на техническое сооружение и восторгаемся его красотами. Для нас гораздо важнее то, что каждое сооружение есть показатель строительства социализма в нашей стране и что оно приближает нас к бесклассовому обществу. Для нас техника и искусство есть одно и то же, так как мы отрицаем чистое искусство. Но единственная техника и единственное искусство, которое мы признаем, есть техника, как осуществлять диктатуру пролетариата, и искусство того, как перейти к бесклассовому обществу. Остальное приложится. Но что же мне сказать о положительной стороне нашей техники? Раз техника для нас не есть самоцель, ее судьба всецело зависит от судьбы диктатуры пролетариата. Но эта диктатура не есть свод отвлеченных правил, она — живое существо. Поэтому я утверждаю, что не может быть абсолютно никаких формальных критериев для того, в каком виде должна существовать у нас техника. Когда живет живое существо, оно руководствуется отнюдь не какими-нибудь доводами, соображениями или принципами. Оно живет инстинктами, интуициями, органическими процессами жизни, и уже на них строит (если только строит) свою теорию. Так и мы живем не формалистически, но — по образу всякой живой жизни. Поэтому, на вопрос о том, какова должна быть у нас техника, на этот вопрос мы можем отвечать по-разному ежесекундно, и не ждите никакой формалистической последовательности в наших суждениях.

А отсюда и — последнее. Мы — коллектив, а коллектив — внеличен. Где же тот наш ощущающий центр, где мы не просто внеличны, но где мы, как живая жизнь, и ощущаем и действуем лично? Ведь все живое — индивидуально. Где же наш коллектив, как живая индивидуальность? Где тот мозг, то сердце, тот живой организм, который ориентирует нас в мире, в жизни и который диктует эти неформалистические принципы техники. Эта живая индивидуальность есть наш вождь, и мудрость вождя и есть мудрость диктатуры пролетариата.

Товарищи! Здесь неумолимая логика. Или техника есть что-то самостоятельное, тогда мы ничем не отличаемся от буржуазно-капиталистического мира. Или мы отличаемся от него, тогда вождь пролетариата и есть наш принцип для урегулирования технического прогресса. Или доверие вождю или мы — в объятиях капитализма.

Все присутствующие встали и началась овация по адресу Сталина.

Абрамов продолжал:

— Я не буду квалифицировать высказанные здесь мнения политически, продолжал Абрамов несколько не злым, а скорее дружеским тоном, — потому что те, кому доступен политический смысл, те и сами знают, кого они своими речами вызывают к жизни и поддерживают. А те, кому он недоступен, напрасно стали бы выслушивать его от меня. Но диктатура пролетариата, повторяю, есть живая сила. Потому она нашла дорогу даже к тем из вас, которые сами мало способны и оценить ее и приблизиться к ней. И вот об этой чуткости, которую я тут ощущаю в нашей действительности в отношении всех нас я и буду говорить.

Товарищ Коршунов! Вы — проповедник неумолимой необходимости в социально-исторической жизни. Вы здесь готовы дойти до фатализма. По-вашему, в техническом прогрессе ничто ни на одну йоту не зависит от индивидуальных усилий. Пусть так! Я не буду вас переубеждать. Я буду просить вас только об одном: будьте честны! Коммунизм убедил вас в течение лет в своей необходимости. Теперь если случаются какие-нибудь задержки в развитии коммунизма или даже повороты назад, то — будьте только честны в оценке того, действительно ли необходимы эти задержки и повороты. От вас не требуется никаких политических убеждений. Вы имеете право, при условии вашего детерминизма, быть только честным. Другой не имеет этого права, но вы его имеете. И потому ваш оппортунизм безопасен. Вы согласны?

— Это меня вполне устраивает, — весело сказал Коршунов. — Я только просил бы оставить мне еще одно право... Это — право... пассивности... иной раз... право скуки, что ли... поскучать....

— Я думаю, это вам будет разрешено, если вы будете в своем детерминизме честны... Обращаюсь к товарищу Михайлову. Сергей Петрович! При вашей точке зрения на технику, да и на всю жизнь, вы обрекаете себе на созерцательность, на безделье, на неделание, как торжественно говорили в старину. В самом деле, когда неизвестны никакие начала и концы, когда все существующее чуждо и навязано насильственно, — что остается делать, как не прекратить всякое делание, ввиду его бессмысленности или внесмысленности (что ли)? Но-вы имеете на это право. При другой точке зрения созерцательность могла бы быть преступной. Но у вас такие взгляды и такое ощущение жизни, что вы имеете на это право. Скажу только одно: будьте созерцательны, а не деятельны, как того требует именно ваша философия. Вы аккуратный советский работник и часто даже энтузиаст своего дела. Это потому, что ваше созерцание есть именно созерцание и презирает переход в делание. Ваше

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
реальное делание – одно, а ваше созерцание – другое. Так пусть же оно остается в глубине вашего сознания, как вы того сами хотите. От этого вы только выиграете, и советская власть не потеряет в вас превосходного чертежника!

– Но этого мне мало, – задумчиво сказал Михайлов. – Мне нужно право на... тоску, на скорбь... Не отнимайте у меня моей тоски, моих страданий...

– Вы правы! Где созерцание, там и скорбь. Где неделание, там и томление.

Скорбите и томитесь себе на здоровье, только оставайтесь всегда созерцательны!... Товарищ Елисеев! Вы взяли на себя ответственность не только за технику, но и за весь мир. Для нас достаточно уже то одно, что вы взяли на себя ответственность за советский строй. Если нам не так важна ваша ответственность за старый режим, то во всяком случае необходимо воспользоваться вашей ответственностью за теперешнее. Но только не оставайтесь ответственными на словах. Если вы будете всерьез и на деле отвечать за русскую революцию, вы не останетесь равнодушными ни к ее хорошему, ни к ее плохому сторонам. Кто всерьез отвечает за свое дело, для того оно интимное, близкое; он всегда будет стараться сохранить в нем лучшее и исправить худшее. Поэтому – оставайтесь с вашей ответственностью во всех ее мировых размерах, но только прошу вас об одном: в своей ответственности не будьте созерцательны, а будьте деятельны, как того требует и сама природа вашей ответственности.

– Не согласен, не согласен, – быстро заговорил Елисеев. – А трагедия? Где же трагедия?

– Какая трагедия? – спросил Абрамов.

– Мир, это – трагедия. История, это – сплошная боль; это – постоянная вещая тревога души... Бытие, это трагическая поэма.

– Но чтобы быть трагическим героем, надо действовать.

– Однако, кто познал тайну противоречия, тому противно действовать.

– Действие придет само собой! Вы только не сопротивляйтесь.

– Это – другой вопрос.

– Итак, вам оставляется ваша трагедия. Будьте только в своей трагедии – деятельными... Товарищ фокстротный романтик! В вашем техническом энтузиазме я не боюсь фокстрота, хотя он и порождение гнилой буржуазии...

– Вовсе нет, вовсе нет!... – перебил тот Абрамова. – Гниение тут ни при чем. На Западе все гниет. Наука и техника тоже гниет, а мы ей тем не менее учимся... Да потом теперь уже поздно ханжить о фокстроте... После недолгого аскетизма в этой области, когда фокстрот запрещался и за него чуть не выслали, – теперь фокстрот завывает и млеет своим певучим и расхлябанным разворотом по всей святой Руси, в каждом доме, в каждой квартире, на каждой площади... Нет ни одного ресторана, ни одного учреждения, ни одной семьи, где бы его ни играли или ни танцевали... Суровый коммунизм великолепно уживается с негритянским лупанарием! И это великолепно! Это – сильно! И утешительно! Изящно!

– Пойдите, пойдите... – замахал на оратора руками Абрамов. Пойдите... Слишком много перца... Ваш соус слишком переперчен... Я вовсе не против фокстрота... Я только боюсь за судьбу вашего энтузиазма... Вы не боитесь?

– Я не боюсь!

– Но все же за этим последите... Ваш фокстротизм интересен нам лишь в смысле энтузиазма... Оставьте фокстрот у себя, как он есть. Я препятствовать не буду... Но нам отдайте ваш энтузиазм... Если ваш энтузиазм не пострадает, то... фокстротируйте себя хоть до упаду...

– Но мне нужна комедия...

– Комедия?

– Да! Чистый энтузиазм слишком суров и аскетичен. Его нужно подправить... улыбочкой, смешком, хихиканьем, гримасой...

– Я думаю, что, в конце концов, не худо... В вашем изображении тут есть нечто, простите меня, телячье...

– По добродушию?

– По беспомощности...

– А иначе не будет энтузиазма...

– Ну, я согласен, – весело говорил Абрамов. – Лучше энтузиазм с последующими Соловками, чем ровное и пустое деячество с нормальным премвознаграждением... Товарищ Харитонов! Вы – фашист. Вы воскрешаете феодальную наивность. Вы – мой самый опасный, злейший враг. И вот, этому злейшему из всех тут выступавших ораторов я преподам самый добродушный, самый невинный из всех моих советов... Я согласен на ваш организм! Слышите ли вы, товарищ Харитонов? Это не так просто случается, что я, защищающий интересы советской власти, именно в целях этой защиты прощаю вам весь ваш фашистский анти-техницизм. Но – с одним условием, с одним дружеским советом. Будьте последовательны в своем органицизме... До сих пор вы, главным образом, только говорили. Но ведь это же только эстетство, в особенности в сравнении с самим содержанием вашей отнюдь не-эстетской философии.

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

Надо осуществить победу организма над механизмом! Надо на деле показать, как можно человека освободить от его порабощения машиной. А сделать это можно, только тогда, когда вы сделаете человека хозяином машины. Да, товарищ Харитонов! Сделайте рабочего хозяином машины. Для этого большинству надо иметь твердые социально-политические убеждения. Для вас же достаточно быть только последовательным с самим собою. Ведь для вас кустарничество, это – идеал? Но кустарь работает только на себя... Устраивайте же нашу жизнь так, чтобы работающий работал только для себя... Хотя это еще и не все, но для вас и притом от вас – покамест это вполне достаточно. Но только – будьте последовательны и не ограничивайтесь фразой.

– Но я – филолог... И я – человек... – с некоторой улыбкой говорил Харитонов

– И потому вы любите слова? – без всякого недоброжелательства спросил Абрамов

– Да, я люблю слова! – с живостью ответил тот – Я люблю слова! Слова, это-тоже дела. Слова часто сильнее дел, глубже и действеннее дел. Слова человека, это – сам человек. Слова жизни – сама жизнь, но только уже осознанная, понятная, выраженная жизнь... Я люблю выражение жизни, выражение хаоса. Слова – изваянная мудрость жизни Я хочу хаоса, люблю хаос и-я люблю слова...

– А царя вы тоже любите?

– Царя?

– Ну, да, царя! Ведь это тоже выражение жизни и тоже, если хотите, изваянное (во всяком случае созданное железом и кровью), да в конце концов если и не мудрое, то и не глупое.

– Поликарп Алексеевич, – отвечал Харитонов без тени смущения – Вы сейчас как будто обвиняли меня в феодализме... В эпоху феодализма цари и короли довольно-таки бессильны, неправы и ничтожны...

– Да, а в эпоху фашизма их часто и совсем не бывает, но от этого не легче .

– Значит дело не в царе.

– Значит, дело в том, чтобы вы поменьше говорили и побольше делали.

– А это не будет еще хуже?

– Нет, это будет лучше когда вы реально столкнетесь с передачей работающему его продукта, вы сами убедитесь в правоте коммунизма... Я уверен, что если вас держат в живых и дают вам ответственную работу, то только в надежде на вашу искренность в последовательном проведении в жизнь ваших же собственных взглядов.

– Может быть, вы правы... – тихо сказал Харитонов.

– Борис Николаевич! – обратился Абрамов к инженеру, восхвалявшему технические произведения с художественной точки зрения. – Мне понравился ваш здоровый эстетизм в оценке технических сооружений. Вы против пошлых восторгов, и вы-за глубокую духовную радость перед лицом технического прогресса. Мы ценим все здоровое, радостное, непошрое, и ваш художественный вкус нам важен. Но – не будьте столь... разумны. Вы ужасно разумны, ужасно объективны. Ваш восторг перед техникой тщательно избегает задеть интересы искусства, философии, религии. Вы до безумия последовательны. Нельзя быть настолько последовательным, прямолинейным... Нельзя быть таким здоровым. Здоровье нервов – нужная вещь, но излишество и здесь опасно, как и везде. В оценках техники надо быть не столь здоровым, последовательным, уравновешенным. Надо побольше нервов... Я бы сказал, побольше нервозности... Мы – нервные люди. А с вашим художественным спокойствием и объективизмом никакой революции не сделаешь .

– Но вы, по крайней мере, – спросил Борис Николаевич, – разрешаете мне быть воспевателем и созерцателем всего космического? Пусть я буду нервозен. Но могу ли я сквозь свои нервы видеть космос? А ведь космос – лад, порядок, форма, космос, это, – прежде всего, красота в универсальном. Я люблю космос, и-я люблю его технику. Ведь он тоже есть техническое произведение. И притом самое главное, самое основное, самое сложное, самое универсальное... Только в подражание ему и существует всякая человеческая техника!..

– Неисправимый платоник! – воскликнул Абрамов – Наш советский платоник. Из всех видов платонизма ваш платонизм производственно-технический – нам ближе всего. Только чуть-чуть поближе к нервам жизни! Чуть-чуть поближе к страсти тела!.. А теперь я перейду к речи Елены Михайловны. Должен признаться, что только речь Елены Михайловны из всего прослушанного ставит меня в тупик. Я всех переварил, у всех увидел хорошее и плохое, у всех отбросил то, что мне не надо, и похвалил здоровое, молодое, нужное, снабдивши известными пожеланиями. Но только интеллигентский, чеховский либерализм Елены Михайловны совершенно ставит меня в тупик. Я не знаю, что мне делать с этим чувством меры... Мера! О, это великое слово, это – глубокий принцип. Но я не понимаю одного, как же это без порки... В комнате стало весело.

Абрамов продолжал

– Мера нужна там, где есть порка... Там-то и возникает вопрос о мере... Но если

нет порки, то что же именно умерять и чем же именно умерять? Умерять слова? И умерять словами? Но тогда я вам скажу, уважаемая Елена Михайловна, что это не только жизненно, но это – просто скучно, пресно. Где нет порки, там нет и творчества, не говоря уже о воспитании. Мне кажется, что, несмотря на всю разноголосицу, все присутствующие резко отличаются от вас тем, что все готовы пороть, равно как, правда, и быть выпоротым. Вы же одна хотите быть эфирным созданием, одна хотите управлять жизнью при помощи картонного меча. Вы не понимаете, что порка есть конкретное отношение между двумя личностями, что она есть абсолютная идея в ее жизненном раскрытии. А ваши принципы гуманизма – отвлеченны; они предполагают не людей, а абстрактно-юридических субъектов. Вы любите свободу, просвещение, альтруизм, взаимопомощь. Что ж! Это не плохо. Но, любезнейшая Елена Михайловна, научитесь-ка еще и пороть людей. Наш гуманизм построен не только на любви, но и на ненависти. И мы порем тех, кого любим, чтобы их поправить, равно как порем и тех, кого ненавидим, чтобы их уничтожить. В порке – три четверти всей философии гуманизма.

– Поликарп Алексеевич, – сказала Елена Михайловна, у которой чуть-чуть порозовели щеки. – Я – инженер-гидротехник, и с меня довольно моих чертежей и расчетов...

– Вот это-то и есть ваша гибель, – воскликнул Абрамов. – Вот это-то и есть наш главный враг, когда человек не теплый и не холодный, когда он дележески ушел в свою работу и когда он только формальный аппарат для проведения любой идеи. Вы – либералка! Гнилая либералка!

– Ну, хорошо! – сказала Елена Михайловна. – Пусть я никого не порю. Но, может быть, для вас достаточно будет того, что я пользуюсь результатами чужой порки? – Этого, конечно, не достаточно. Но больше с вас ничего не возьмешь. Покорные зрители чужой порки, это, в конце концов, не последний товар... Только помните: мера – хороша, но безмерное – тоже хорошо. Неизмеримое, неисчерпаемое, преизобильное, избыточное, это все – юно, свежо, оно набухает, рвется вверх, вширь, вперед. Не знающее меры – свободно, властно, гордо, вулканично, стихийно. Оно – революция! А мера, система, упорядоченность, степенность, это – нужно, если оно только признак зрелости, спелости и спокойного самообладания. Чаще же оно – свидетельство дряхлости, старчества, внутренней косности, ограниченности, бессильной покорности, связанности...

– Скажите: реакционности, контрреволюционности, – со смехом добавила Елена Михайловна.

– Вы уже сказали, и я могу это только подтвердить.

– Но давайте кончать! – продолжал Абрамов, все больше и больше вдохновляясь своими идеями. – Я еще не все сказал. Я считаю необходимым, в заключение, указать вот на что. Всегда человеку трудно жилось, никогда не было в истории счастливых времен. Но всегда в человеке клокотал огонь творчества, самопожертвования, восторга, а, значит, и счастья, блаженства. Всегда в человеке боролся герой с мещанином, и всегда для этого находились соответствующие социальные формы. Та форма, в которой суждено нам жить и работать, эта форма есть советский строй, и его душа, его источник диктатура пролетариата. Мы, работники Беломорстроя, знаем, как может увлекать огромное строительство, как сказочные технические задачи сделали нас из мещан героями и приобщили к всемирно-историческому человеческому творчеству.

Клубится, клокочет и бушует революционная лава. Перед нами рушатся миры в сплошную туманность, и из нее рождаются новые. Рождение и смерть слились до полной неразличимости. Скорбь и наслаждение, восторг и слезы, любовь и ненависть – клокочут в наших душах, в нашей стране. Мы гибнем в этом огненном хаосе, чтобы воскреснуть из него с новомыслиями и небывальными идеями. Имя этому огню – мировая революция! Из него – новый космос, новая солнечная система. Тут все вы найдете свое признание. Тут все найдут свой смысл. Это не было бы мировой туманностью, рождающей космос, если бы оно не покрыло и не переплавало всех противоречий жизни. Вы, честные, но пассивные, созерцательные, но не деятельные, вы, деятельные, но не созерцательные, вы, трагические мыслители, проклинаящие комедии, и вы, комические художники, которым претит все возвышенное и трагическое, все вы с своим мистическим покоем хаоса и с нервной созерцательностью в космосе, все вы и еще другие, которых бесконечность, все вы, разноголосый хор действительности, втянуты, стихийно вовлечены в смерч бытия, в ураган истории; и все вы служите ей своей жизнью, своей смертью; и вами строится человеческая история. Помните, из вас, на вас и перед вашими недоумевающими глазами вырастает из этой бесформенной и страстной музыки истории небывалое царство солнца, света и радости, в котором Беломорстрой – одно из счастливых преддверий. Только не прячьтесь, не пугайтесь, не скрючивайтесь, не залезайте за несуществующую мамину юбку. Вылезайте все! Если надо умереть, умирайте все! Верьте в чудо истории, вас воскрешающее.

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

Вали, вали, ребята, на простор революции, на окончание Канала этим летом! Даешь до срока!

После этих слов Абрамова раздались аплодисменты. Публика стала вставать с мест, подходить к Абрамову и дружески жать ему руку в знак признательности и благодарности.

– Пойдите, пойдите! – вскричал я. – Я – сейчас! И я шагнул в соседнюю комнату, схватил только что вышедший из печати и только что полученный на Медвежьей Горе том сочинений Гете и вернулся с ним в общую комнату.

– Пойдите, пойдите! – опять крикнул я. – Слушайте! И я начал декламировать:

"душой в безбрежном утвердиться,
С собой, отторгнутым, проститься
в ущерб не будет никому.

Не знать страстей, горячей боли,
Молитв докучных, строгой воли
Людскому ль не мечтать уму?

Приди! Пронзи, душа вселенной!

Снабди отвагой дерзновенной,
Сразиться с духом мировым!

Тропой высокой духи ходят,

К тому участливо возводит

Кем мир творился и творим! Вновь переплавить сплав творенья,

Ломаю слаженные звенья,

Заданье вечного труда.

Что было силой, станет делом,

Огнем, вращающимся телом,

Отдохновеньем – никогда. Пусть длятся древние боренья!

Возникновенья, измененья

Лишь нам порой не уследить.

Повсюду вечность шевелится,

И все к небытию стремится

чтоб бытию причастным быть." В ответ на мою декламацию тоже раздались громкие аплодисменты.

Кое-кто подходил и ко мне с благодарностью.

Было уже около 12 часов ночи, и многие стали собираться домой.

Начались прощальные приветствия, как вдруг Михайлов подошел ко мне и сказал:

– А знаете?... Я бы сказал еще кое-что... На две минуты...

Все согласились, и – Михайлов заговорил, в то время как многие уже оделись и начали слушать его стоя.

– Товарищи! Сегодня мы проделали важную работу, и этот вечер надолго останется у нас в памяти. Мы откровенно поделились своими мыслями и честно пошли на разговор с коммунизмом. Имейте в виду, что кроме Поликарпа Алексеевича среди нас нет ни одного большевика, да и Поликарп Алексеевич не коренной большевик; он – интеллигент инженер, и центральное его устремление – отнюдь не политическое. И вот мы, – хорошо ли, плохо – но приняли вызов современности, не спрятались от нее за мамину юбку, а стали ее воспринимать, переваривать, перерабатывать, твердо зная, что если какой прогресс и улучшение жизни возможно, то только через современность, а не помимо ее.. Но не все так смелы и так молоды, как мы. Каждый из нас знает сотни и тысячи человек, которые забились на тихие места в библиотеки, в музеи, в технические конторы, в научные и художественные учреждения. Сотни и тысячи интеллигентов сидят сейчас по наркоматам, делая "нейтральную" (как будто бы у нас можно делать "нейтральную" работу и тем утешая себя, что они-де неповинны в большевизме и революции. Это жалкая, трусливая толпа не имеет силы заглянуть действительности в глаза. Она все еще выжидает по календарю, когда придет какой-то Николай Николаевич и спасет их мелкие, шкурные интересы. Они осуждают нас за то, что мы имеем глаза и уши и что мы, хотя и не будучи большевиками, но работаем вместе с ними для достижения лучшего будущего. Вся эта трусливая мразь изменяет своим идеям при первом же натиске, но покамест их революция щадит, они наивно верят в свою чистоту и осуждают нас. Но оставим интеллигенцию. Я знаю многих писателей, ученых, переводчиков, крупных и мелких литераторов, даже коммунистов, которые сидят в столицах в чистых квартирах, имеют сырое брюшко и пописывают об успехах советской политики, техники и экономики. Партия старается гнать их на производственную работу, чтобы их слова не оставались пустой, хотя бы и правильной теорией. Но даже и партия не всегда может обойти их изворотливость. Всем этим гражданам мы скажем: кто не поработал на большой советской стройке, тот не знает, что такое революция, что такое коммунизм, что такое советская власть; и тот не поймет, как жизнь и смерть, наслаждение и скорбь воссоединяются в одном общем потоке всемирно-исторической мистерии человечества. Если бы я имел власть, я бы запретил всякому, – все

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org

равно, друг он или враг, – писать или говорить о марксизме, если он не побывал на большом производстве, причем побывать туристом или экскурсантом в течение нескольких дней, это не имеет никакого значения. Кто не поработал сам в течение нескольких лет в самой гуще производства, тот не имеет права судить ни о какой революции, ни о каком коммунизме и, в частности, не имеет никакого права критиковать нас, – друг ли он марксизма или враг. Руки прочь от жизни, раз вы сами испугались ее сурового лица и спрятались в темный погреб, когда грянула гроза революции! Мы – не большевики и вполне отдаем себе отчет, что, может быть, никогда ими не будем. Но в наших жилах бьется горячая кровь всемирно-исторической трагедии человечества; мы – творцы истории, а история, это ведь тот же гераклитовский поток, жизнь и смерть, бдение и сон, юность и старость одно и то же. И вот почему мы на Беломорстрое! Вот почему мы любим в нем каждую голову шлюза, каждый мостик на плотине, каждый щит на воротах. История, это – сладострастное наслаждение бытием. А вечное... Вечность есть дитя играющее, сказал Гераклит. И вот чему научил нас Беломорстрой! А вы скопцы, гниющая каличь, бессильно-злые останки жизни! История, это сказка, и действительность фантастичнее всякого Гофмана и Эдгара По. А вы...
Голос Михайлова начинал дрожать, и его волнение стало передаваться другим. Он, явно, слишком зарпортовался.

Я тихо подошел к нему и стал ласково гладить его по спине со словами:

– Брось! Не стоит! Нас ведь все равно не поймут...

Прибавил и Абрамов:

– Не стоит расстраивать себе нервы...

Михайлов начал было опять дрожащим взволнованным голосом:

– Мы – разные! Мы – абсолютно разные! Но мы – одно! Мы – в одном! Мы во всемирной мистерии человечества! Нами играет вечность!

Но мы не дали ему говорить, так как он был слишком возбужден и волновал других, да было и поздно.

Все стали прощаться и уходить. Ушел и Михайлов.

Последними уходили Абрамов и Харитонов. Завязался во время их одевания разговор.

– Да! – сказал Харитонов, разыскивая свои галоши. – Вот кто не нюхал беломорстроевского пороха, тот Михайлова не поймет. А вот большевики понимают!

– Понимать-то они понимают, – согласился Абрамов, хитровато прищуривая один глаз, – да только с нашего брата глаз нельзя спускать.

– Ну, это только естественно! – добавил я. – Ведь ребенка мы тоже понимаем, даже и любим. А ведь глаз нельзя с него спускать.

– А вы тоже хороши! – иронически сказал Абрамов.

– А в чем дело? – удивился я.

– В чем дело! – добродушно ответил Абрамов. – Уж не могли обойтись без масонства!

Я вытаращил на него глаза.

– Без масонства? – с испугом в голосе спросил я.

– Ну, конечно, без масонства! Ведь Гете-масон. Я остолбенел.

– Гете ... масон? – прошептал я.

– Если вы этого не знаете, то я вам могу сказать, что Гете всю жизнь состоял в масонской ложе и, когда праздновался там 50-летний юбилей его масонской деятельности, он заявил, что всю жизнь свою он только и служил масонству.

Я раскрыл рот и ничего не нашелся ответить.

– Да не волнуйте его, Поликарп Алексеевич, – вступился Харитонов. Ведь это же невинное масонство XVIII века, просто благотворительное, филантропическое общество...

– Гете... – масон? – продолжал растерянно шептать я.

– Ну, я, Николай Владимирович, – сказал Абрамов, – жалею, что об этом заговорил. Вы придаете этому какое-то особенное значение, которого я совершенно не нахожу... Просто мне думается, что не стоило вам для иллюстрации моих взглядов декламировать Гете.

– Да, конечно, ... – рассеянно говорил я, – конечно, пожалуй, не стоило...

И рука сама собой поднялась у меня к затылку и стала чесать его.

– А я вот думаю о другом, – сказал Харитонов. – Я вот думаю, как глубока и насыщена наша советская действительность, как она трагична, эпична, какой страстный трагический дифирамб она собой представляет, какая это ликующая, победная симфония духа, и – как серы, скучны, как ничтожны и бессильны наши теории! Как комично и слабоумна эта трогательная детская игра, борьба каких-то там диалектиков с какими-то механистами, это несчастное кропотельство плохо учившихся грамотеев, мнящих себя идеологами... Не только один звук, произнесенный Сталиным, гениальнее и действеннее всего этого многолетнего писка "теоретиков", но каждый камень, правильно уложенный нашим беломорстроевским

Лосев А. Из разговоров на Беломорстрое filosoff.org
рабочим для укрепления дамбы, каждый синус и косинус, правильно исчисленный в
нашем Проектном Отделе гениальнее, нужнее, историчнее, жизненнее, – я бы сказал,
мистичнее сотен книг и тысяч страниц столичных – даже и признанных – теоретиков.

– Но Гете, – возразил Абрамов, – все равно не наш идеолог.

– Он не наш, – сказал Харитонов, – но ближе к нам, чем все эти Деборины,
Лупполы, Варьяши и пр.

Тут очнулся и я и сказал:

– Все это значит только то, что еще не настало время для теории, для настоящей
теории. Еще и не снится теперешнему теоретику, что такое наша революция и что
такое наша техника. Еще не родились настоящие слова...

– Но ведь существует же революционная теория, – сказал Абрамов.

– Она существует, – ответил Харитонов. – Но ее-то и надо понять. А понять ее
можно будет только тогда, когда будет понята и самая революционная
действительность.

– Ну, – сказал Абрамов, хлопая Харитонova по плечу, – с нас довольно, что мы эту
действительность строим! Мы распрощались.

На дворе было темно и холодно. Я вернулся в теплую комнату, разделся и лег.
Обрывки слышанного долго бороздили мой мозг, сплетаясь в причудливые и путанные
образы. Мерещилась какая-то чушь.

То мне представлялось, что я лежу как бы в параличе и не могу двинуть ни рукой,
ни ногой и какие-то отвратительные куклы обступили меня, дразнят меня и
показывают язык. То я как будто сижу в отдаленном углу кладбища перед родной и
милой могилой, глубоко опустивши голову над могильным камнем, в недвижимой,
окаменелой, бессмысленной тоске; и слышалась в отдалении старинная частушка,
которая распевалась еще в моем детстве: "А под крестом мо-о-я могила,
А на кресте мо-о-я-я любовь..." То вдруг я читал огромную афишу на Беломорстрое,
где крупными буквами были напечатаны слова приказа одного из крупных
начальников: "Деритесь за Канал, как черти!"

То я и сам как бы декламировал с актерским акцентом: "И все к небытию стремится,

чтоб бытию причастным быть!" То, наконец, помнились недовычисленные формулы и
уравнения в расчете арматуры шлюзных голов, которые надо было срочно кончать.
Я насильно отогнал от себя все это дремотное марево и, когда уже пробило два
часа ночи, крепко заснул.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!